



## Эпитеты к слову “Русь” в поэзии Сергея Есенина

О.Е. ВОРОНОВА,

кандидат филологических наук

“Есенинская Русь”.... Это понятие прочно вошло в читательское сознание и вызывает в нём вполне определенный круг эмоционально-образных ассоциаций.

В чём же секрет удивительного обаяния поэтического образа родины в творчестве Сергея Есенина? На наш взгляд, не только в подкупающей преданности поэта главной теме его лирики, яркости цветозвуковой палитры и задушевности лирического настроения. Одна из загадок “есенинской Руси” — в поражающей разноликости, разноплановости, многозначности этого образа. Такой художественный эффект достигается благодаря использованию самых различных изобразительно-выразительных средств языка, и в том числе — эпитетов в сочетании с опорным словом “Русь”.

«Шестую часть земли/С назовьём кратким “Русь”» Есенин именует чаще всего так. Другой вариант (“Россия”) встречается значительно реже, а стилистически окрашенное употребление слов “Расея” (“Расея”) и “Руссия” носит вообще единственный характер. По всей вероятности, частотность употребления слова “Русь” в произведениях Есенина обусловлена: древностью и “исконностью” происхождения, богатством исторических, эстетических и эмоциональных ассоциаций, разнообразием семантических возможностей и многовариантностью синтаксических сочетаний с другими словами и словоформами, “удобством” применения в версификационном плане (краткость и звучность, богатый выбор рифм, в том числе глагольных, сходство звукового облика слова с любимыми поэтом “усечёнными” формами типа “синь”, “цветь”, “звень”, “т.п.). О предпочтительном отношении Есенина к этому слову свидетельствует и тот факт, что на протяжении всего творческого пути он охотно использует его в названиях своих произведений: “Русь”, “Русь бесприютная”, “Русь уходящая”, “Русь советская”.

Из отмеченных нами 70 словоупотреблений примерно в 30 случаях слово “Русь” употребляется без эпитета и в 40 — с эпитетами. Разнообразие их удивительно. Дважды повторяются только эпитеты *родная*

(“Гой ты, Русь, моя родная...” и “Песнь о великом походе”) и *святая* (“Песнь о великом походе” и “Песнь о Евпатии Коловрате”). Остальные эпитеты не повторяются ни разу.

С помощью эпитетов в поэтическом творчестве Есенина решаются многие художественно-эстетические задачи.

Эпитету “подвластно” выразить всю полноту эмоционального отношения лирического героя к родной земле:

Край мой! *Любимая* Русь и Мордва!  
 (“Синее небо, цветная дуга...”)

Эпитет способен стать той “краской”, которая сделает поэтический портрет родины ярким, колористически насыщенным:

Я покинул родимый дом,  
*Голубую* оставил Русь.  
 (“Я покинул родимый дом...”)  
 Звени, звени, *златая* Русь,  
 Волнуйся, неумный ветер!  
 (“О, верю, верю, счастье есть!”)

Эпитет может выразить и чувство глубокой сердечной боли за вековую отсталость России — боли, перемешанной с характерной есенинской горько-весёлой иронией:

Не народ, а дрохва  
 Подбитая!  
 Русь *печёсаная*,  
 Русь *немьтая*...  
 (“Песнь о великом походе”)

Наконец, эпитет может “перебросить” мостик из вчерашнего дня в завтрашний, воплотив не только ностальгию о “прекрасной прошедшей Руси” (“Страна негодяев”), но и мечту поэта увидеть родину могучей, процветающей державой:

...И всё же хочу я *стальнойю*  
 Видеть *бедную, нищую* Русь.  
 (“Неуютная жидкая лунность...”)

В творчестве Есенина слово “Русь” предстаёт в самых различных смысловых значениях: как географическое понятие и историческая реальность, как духовная колыбель поэта и исток его творческой биографии, как гигантское социально-политическое пространство с происходящими на нем бурными революционными событиями и как национально-социальная общность людей, соотносимая с понятием “русский народ”. В зависимости от смыслового наполнения слова “Русь” группируются и семантические “гнезда” эпитетов.

Многообразна группа эпитетов, выраженных причастиями, имеющими значение обновления, движения, перехода в новое качество:

*воспрянувшая* Русь (“О Русь, взмахни крылами...”);

*прозревшая* Русь (“Пришествие”);

*отчавившая* Русь (“Иорданская голубица”);

*Коммуной вздыбленная* Русь (“Издатель славный! В этой книге...”).

Индивидуально-авторскими антонимами к данным эпитетам являются следующие определения со значением возвратного движения в прошлое:

*Русь уходящая* (“Русь уходящая”);

*Прошедшая* Русь (“Страна негодяев”).

Эпитеты, выраженные причастными формами, интересны своим метафорическим содержанием, которое основано на переносе признаков других предметов и явлений по принципу сходства. Как правило, полный смысл эпитета обнаруживается только в контексте стихотворения в целом. Так, образ “воспрянувшей” Руси соотносится с гигантской птицей, “взмахнувшей крылами” и изготовившейся к полёту, образ “отчавившей” Руси — с огромным кораблём, пустившимся в плавание к неведомым берегам; “Коммуной вздыбленная Русь” вызывает ассоциации с могучим конём, поднявшимся на дыбы.

Наряду с метафорическими эпитетами в произведениях Есенина встречаются и метонимические, основанные на переносе признаков других предметов и явлений по принципу смежности. Таков, например, эпитет “*деревянная* Русь”, служащий символом русской деревни:

Русь моя, *деревянная* Русь!

Я один твой певец и глашатай.

(“Хулиган”)

Метонимическим является и другой чисто “есенинский” эпитет — “*берёзовая* Русь”, указывающий на характерный признак ландшафта России — берёзу, ставшую национальным символом:

За *берёзовую* Русь

С нелюбимой помирюсь.

(“Вижу сон. Дорога чёрная...”)

Интересны есенинские эпитеты с метонимической основой, характеризующие определённый социальный срез русского общества: “*мужицкая*” (“Пугачёв”), “*кабацкая*” (“Анна Снегина”), “*бесприютная*” (“Русь бесприютная”). В сочетании со словом “Русь” они выявляют семантику тесной общности, объединённости людей общей судьбой.

Встречаются у Есенина и эпитеты традиционные, связанные с духовными истоками русского православия:

за *святую* Русь (“Песнь о великом походе”);

на *святую* Русь *крещёную* (“Песнь о Евпатии Коловрате”).

Такие эпитеты вполне отвечают авторской задаче — стилизации поэтического слога обеих поэм в духе торжественной риторики старинных воинских летописей о “великих походах” и сражениях. Они органично вписываются и в рамки теории “официальной народности”, которой Есенин отдал дань в ранних своих произведениях: “Ой ты, Русь, моя родина *кроткая*, / Лишь к тебе я любовь берегу” (“Русь”).

Примечательно, что позднее поэт разрушит еще живую “магию” этого мифа, и тогда появится у него составной по структуре, “полемический” эпитет “*ложноклассическая Русь*”, подводящий черту под благолепным образом кроткой родины—”монашки” и намечающий штрихи нового поэтического облика России:

И небо и земля всё те же,  
Всё в те же воды я гляжусь,  
Но вздох твой ледовитый реже,  
*Ложноклассическая Русь.*  
 (“И небо и земля всё те же...”)

Особый разряд эпитетов к слову “Русь” в поэзии Есенина составляют *эпитеты-приложения*, выраженные существительными с зависимыми словами и стоящие, как правило, после определяемого слова. Благодаря своему распространённому составу они обладают повышенной содержательной ёмкостью и выполняют роль развёрнутой поэтической характеристики:

Ой ты, Русь моя, *милая родина*,  
*Сладкий отдых в шелку купырей.*  
 (“Русь”);

О Русь — *малиновое поле*  
*И синь, упавшая в реку...*  
 (“Запели тёсаные дроги...”);

О Русь, *покойный уголок*,  
Тебя люблю, тебе и верую.  
 (“Тебе одной плету венки...”).

Наиболее интересны эпитеты-приложения в романтических поэмах Есенина 1917—1919 годов, где русская революция мыслится поэту в категориях библейского “космоса”. В этой революционно-романтической утопии поэт отводит себе место нового пророка: “Так говорил по Библии/Пророк Есенин Сергей” (“Инония”). Русь же в этих поэмах предстаёт в самых разных ликах. То в облике принесённой на алтарь революции священной жертвы — новорождённой “телицы”, о судьбе которой лирический герой молит Господа у ворот рая: “Звёздами спеленай/*Телицу-Русь*” (“Преображение”). То в образе воплотительницы божественного промысла, обретающей новую жизнь в очистительной гибели:

Гибни, Русь моя,  
*Начертательница*  
*Третьего*  
*Завета!*  
(“Сельский часослов”).

То, наконец, в избраннической ипостаси Пресвятой Девы-Богородицы, несущей миру нового Христа, возвещающей откровение нового мира:

О Русь, *приснодева,*  
*Поправшая смерть!*  
Из звёздного чрева  
Сошла ты на твердь.  
(“Пришествие”).

Как видим, образно-эмоциональный спектр эпитетов к слову “Русь” в поэзии Есенина чрезвычайно богат и многолик. “Чувство родины”, которым так дорожил поэт, находит в них максимально полное образное воплощение, побуждая нас вновь и вновь возвращаться памятью к пронзительным строчкам есенинской “Исповеди хулигана”:

Я люблю родину.  
Я очень люблю родину!..

*Рязань*

## На кого похож набоковский Найт?

Н.Ю. КОЛТАЕВСКАЯ

“Бывают странные сближения...” Князь Мышкин, герой романа Ф.М. Достоевского “Идиот”, был назван “рыцарем бедным”: он повторил и претворил (в жизнь? в дух? в другую литературную реальность?) подвиг пушкинского рыцаря. Себастьян Найт, герой романа Владимира Набокова “Истинная жизнь Себастьяна Найта”, вместе с именем получает в дар другой литературный сюжет судьбы — историю скорбящего рыцаря из баллады Дж. Китса “La Belle Dame Sans Merci” (“Безжалостная красавица”).

В известном смысле и с существенными оговорками Себастьян Найт — alter ego самого Набокова. Автор щедро наделяет своего героя не только сходными художественными пристрастиями (любовью к Р. Киплингу, Р. Бруку, А.Э. Хаусмену и др.), но и некоторыми автобиографическими подробностями. Себастьян Найт, как и Набоков, учится в Тринити-колледже (колледже Св. Троицы). Фамилию своих немецких предков по линии прадеда с отцовской стороны писатель любезно уступает Элен фон Граун, одной из четырёх претенденток на роль таинственной возлюбленной Себастьяна. И, конечно, чрезвычайно значимой оказывается тема не столько национального, сколько “языкового самоопределения” персонажа. Приняв фамилию своей матери-англичанки и со страстью неопита предаваясь занятиям “записного” англичанина (катание на хэнсом-кэбе, прогулки в любую погоду без головного убора, несмотря на слабое здоровье, и т.д.), Себастьян Найт одновременно выбирает определённый вариант судьбы, отчасти воплощённый в выборе языкового и культурного материала для построения здания своей прозы.

Второй, двойнически-альтернативный вариант связан с его русским и русскоязычным братом, который и пишет книгу о Себастьяне. Нет нужды говорить о том, что уникальная двуязычность феномена Себастьяна Найта и Владимира Набокова — вещи одного порядка.

Набоков, конечно, хорошо понимал всю двусмысленность таких интимных отношений между автором, повествователем и героем, в свою очередь являющимся автором. Эта кадриль с участниками, которые постоянно меняются местами, — сознательный принцип построения некоторых его романов. Причём не только реальное лицо становится литературным персонажем, но и литературный персонаж стремится перейти в разряд авторов. Нина Речная, выдавая себя за подругу последней возлюбленной Себастьяна (которой в действительности является она сама), получает возможность говорить о себе в третьем лице и

ведёт тем самым сложную и тонкую игру построения собственной модели мира, где существуют иной Себастьян, иная Нина и иные отношения между ними. Да и сама Нина Речная не есть ли обращённо-стилизованый портрет чеховской актрисы и почти полной тёзки — Нины Заречной?! Поэтому, только осознав всю сложность взаимоотношений Набокова с реальностью, а, точнее сказать, с реальностями, можно оценить лукавую иронию, вложенную им в заголовок “The Real Life of Sebastian Knight”.

Литература, лежащая в основе литературы, текст, творимый из самого текста... В “Лолите” это откровенная игра со стихотворением Эдгара По “Аннабел Ли”, в “Себастьяне Найте” — изначное вышивание по балладе Китса. “Вторая реальность” китсовских текстов нередко входит в подтекст или, скорее, затекст творчества Набокова. В той же “Лолите” упоминается работа Гумберта-Гумберта “Прусовская тема в письме Китса к Бенджамену Бейли” (стоит оценить этот блестящий анахронизм!). Сам Набоков в юности переводил балладу Китса “La Belle Dame Sans Merci”, и перевод этот вошёл в его стихотворный сборник “Горний путь”.

В романе “Истинная жизнь Себастьяна Найта” он передоверяет воссоздание китсовского стихотворения по-русски поэту-футуристу Алексею Пану, с которым Себастьян чрезвычайно сдружился. «... настоящую цену ему [Алексею Пану] знают два-три филолога, отдающие должное его блестящим переводам из английской поэзии, сделанным в самом начале его литературной карьеры, и один из них — воистину чудо словесной трансфузии, “La Belle Dame Sans Merci” Китса».

Имя Китса в русской литературе отнюдь не обременено ни известностью, ни грузом культурных традиций. Первые переводы его стихов появились практически лишь в начале века. Как это ни парадоксально, классика английской литературы, жившего в одно время с Байроном и Шелли, каким-то образом приоткрыли русскому читателю только модернисты. Их, как в свою очередь и прерафаэлиты, привлекла идея чистой красоты, обходящейся без избыточной злободневности социального. Естественно, что полумистическая и окутанная романтическим флёром баллада Китса именно тогда была воспринята как нельзя более органично.

Уже имя главного героя романа Набокова содержит в себе намёк на внутренний диалог с Китсом. Оно связывается с названием одной из шахматных фигур — коня (по-английски — knight). Эмблемой шахматного коня подписывает Найт некоторые из своих текстов. Но первое из значений слова knight — “рыцарь”. Knight, рыцарь, — это и герой баллады Китса.

O what can ail thee, knight-at-arms,  
Alone and palely loitering.

(Что заставляет тебя страдать, о рыцарь,  
Одинокого, бледного, скитающегося?)

Рыцарь встречает во время своих блужданий прекрасную и загадочную леди — “дитя фей”. Он сажает её на своего коня, сплетает ей гирлянды из цветов и весь день смотрит только на неё. Она же проявляет все признаки любви к рыцарю (as she did Love) и даже говорит ему на “странном языке” (in Language strange) слова признания. Убаюканный в эльфийском гроте, рыцарь видит свой последний сон. Смертельно бледные короли, принцы и воины кричат: “La Belle Dame Sans Merci тебя пленила!”. Видны их запавшие губы, зияющие в ужасном предупреждении. Проснувшись, рыцарь остаётся одиноким и покинутым на холодном склоне холма и отныне скитается печален, бледен и измождён.

Нетрудно заметить сюжетные переключки между балладой Китса и романом Набокова. Нину Речную, последнюю и разрушительную любовь в жизни Себастьяна Найта, повествователь называет взбалмошной, коварной и жестокой женщиной, а ее красота бесспорна, потому что отмечена несколькими наблюдателями. Более того, красота загадочной дамы и её русская национальность становятся теми отправными пунктами, по которым строит свой поиск брат Себастьяна Найта. Станный иностранный (strange — не только “странный”, но и “чужой”) эльфийский русский язык помогает не только найти Нину, но и разоблачить розыгрыш мнимой мадам Лесерф. Брат Себастьяна замечает по-русски, что на шею у неё сидит паук, и по непроизвольному жесту руки догадывается о национальности своей собеседницы, которая выдавала себя за француженку и подругу возлюбленной Найта.

Инициатива в любовной игре, как в балладе Китса, так и в романе Набокова, исходит от прекрасной незнакомки: “И она решила, что это будет потеха — сделать его своим возлюбленным. Потому что, понимаете, он выглядел таким высоколобым, а ведь так, знаете, забавно, когда эдакий вот утончённый, холодный умник вдруг опускается на все четыре лапы и виляет хвостиком”. И исход этой потехи в обоих случаях оказывается роковым. Сердечная болезнь Себастьяна Найта явилась причиной его смерти.

И китсовский рыцарь, и набоковский писатель отныне одиноки (alone), бледны (pale), измождены (haggard), удручены горем (woebegone). Печатью особой ровной бледности отмечена ещё и Нина (а её ледяные руки согреваются только летом): у Китса это знак смерти и смертоносности (death-pale). А лихорадочная роса пота (fever dew) и влага, выступающая от боли (anguish moist), — вполне вероятные клинические признаки большого сердца.

Знаменательно также, что набоковский Knight умирает зимой: по всей видимости зимой видит свой последний сон knight китсовский (утки улетели с озера, птицы не поют, холм холоден, урожай собран).

Даже встреча рыцаря с королями, принцами и воинами, некогда пленёнными дамой, находит отголосок у Набокова: в последний приезд Себастьяна Нина посылает на вокзал двух из своих многочисленных

поклонников, которые объявляют ему приговор его бывшей возлюбленной.

Страшный сон-пророчество, предвещающий смерть Найта, послан в романе Набокова не заглавному герою, а его брату-двойнику. Толковать сновидения всё равно, что рассматривать под микроскопом нежное крыло бабочки, распадающееся на нелепые чешуйки, поэтому из-за недостатка места откажемся от возможных комментариев.

Творческое бесплодие и бессилие Себастьяна Найта в последний период есть роковая помета Нины Речной, которая не читает книг, ибо созидает текст из своей жизни. “Человек и есть книга: и книга умирает со стоном, испуская призрачный дух”.

Что ж? Неужто *истинная* жизнь Себастьяна Найта не более, чем реминисценция из стихотворения давно уже умершего поэта, тень тени, отражение отражения, вариант полузабытого архетипа? “Уместна ли, — спросит критический читатель, — эта мелочная придирчивость, эта дотошная скрупулёзность в поисках перекличек, отголосков и отзвуков, обертонов дразнящей гармонии?”

Осмелюсь привести ещё одну цитату:

“Себастьян Найт всегда любил жонглировать темами, сталкивать их или хитроумно сплетать, заставляя обнаруживать скрытое значение, только через последовательность волн и постигаемое: так устроен китайский буй—волнение на море рождает в нём музыку”.

*Алма-Ата*

## Всеволод Некрасов — мастер-паронимист\*

ДЖЕРАЛЬД ЯНЕЧЕК,\*\*

профессор Лексингтонского университета

В этой статье мы хотели бы предложить обзор творчества Всеволода Николаевича Некрасова — одного из наиболее значительных и оригинальных современных русских поэтов. Тексты, на которых основывается исследование, не датированы; их временные границы — от конца 1950-х годов до настоящего времени (то есть 1989 года. — *прим. пер.*). Поскольку **Н.** не датирует свои стихи и часто правит их, большая точность здесь невозможна.

Стихотворение **Н.**, как правило, уместается на пространстве в четвертую долю машинописного листа; такой объём — важный фактор его поэзии. Расположение слов и других графических элементов оказывает определяющее влияние на смысл. Представьте четвертушку, посредине которой находится следующее:

• однако

Это стихотворение можно сопоставить с другим — наиболее минималистским у **Н.**, — которое проще описать, чем воспроизвести: пустая четвертушка с точкой, поставленной в правом нижнем углу. В первом случае перед нами — мнимый конец, оборачивающийся началом чего-то иного; во втором случае — конец неясного, неартикулируемого содержания, от которого нельзя избавиться иначе, нежели перевернув страницу.

Когда визуальный элемент важен, **Н.** обыгрывает интервалы, иногда — края листа (слово может достигать края или не уместаться на листе), использует подчёркивание, вычёркивание, круги и другие геомет-

\* *В.Н. Некрасов* (род. в 1934) — поэт, культуролог. По словам Евгения Сабурова, "Некрасов — отец русского концептуализма, не принадлежащий к этому направлению". В 1960-х входил в "лианозовский" круг. Переводы его стихов печатались в Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Германии, США, Англии, Франции и др. В России вышли два сборника Всеволода Некрасова: "Стихи из журнала" (М., 1989) и "Справка" (М., 1991), а также подборка в "Новом литературном обозрении" (1993. № 5).

\*\* *Джеральд Янечек* — литературовед-русист, переводчик и композитор, профессор университета в Кентукки, США. Занимался творчеством Андрея Белого, футуризмом, опубликовал статьи о современной русской поэзии, составитель одного из сборников *В.Н. Некрасова* (Лексингтон, 1987).

Публикуемая статья была впервые напечатана в "Slavic and East European Journal" (1989. Vol. 33. № 2). См. также: "Minimalism in Contemporary Russian Poetry: Vsevolod Nekrassov and Others" // *The Slavonic and East European Review*. 1992. Vol. 70. № 3 и др.



А вот более сложный образец паронимической конструкции:

итога  
и итога  
всё

всё осень

осень  
каждый день  
и каждый день  
дождь  
и дождь  
и тоже  
тоже  
так  
так как-то

а что же ещё

Стихотворение парадоксальным образом начинается со слова, которое обычно появляется в конце; то же, чему подводится итог, не определено. Поскольку поэзия — достаточно серьёзное дело, мы склонны ожидать здесь какой-то великой истины о смысле жизни, уловить которую мы, однако, не можем. Чтобы усилить парадоксальность, добавлено ещё одно суммирующее — "и итога", создающее комическое нагромождение "и" и вызывающее в нашем сознании образ хлопотливого маленького книготорговца, подводящего баланс и завершающего свои расчёты торжествующим: "всё". Намечается соотношение между "всё" и "итога" [итаво]: повторяются ударные гласные. Когда "всё" повторяется в следующей строке, его часть — *с'о* — переворачивается, чтобы образовать начало нового слова — [ос'эн']. Как и в случае "правда/трава", звуковая связь заставляет нас подумать о связи семантической (осень — завершение природного года, время урожая и подведения итогов потерям и приобретениям, осень как метафора конца). Дойдя до этого места в тексте, начинаешь замечать множественность форм существования в нём каждого слова или фразы.

Дальше [ос'ен'] порождает [ден'], а комбинация [д] и [ж] из [каждый] с [о] из [ос'ен'] порождает [дош']. Подобным образом [дош'] порождает [тоже], [тоже] — [так] и проч.

В предпоследней строке слышится сомнение, а последняя строка, бесспорно, должна читаться как вопрос, снова открывающий книги, закрывые в первых строках. Осень завершает годовой цикл, но осенние дожди начинают его снова; что касается человека, то его жизнь кончается, однако финальное "а что же ещё" остаётся вопросом открытым. Последняя строка — звуковой итог: содержащиеся в ней фонемы присутствуют во всех остальных частях стихотворения. Обратите внимание на красноречивую связь между тремя ключевыми словами: [вс'о] — [дош'] — [жш'о].

Как видим, буквально все слова стихотворения включены в систему паронимических переключек: паронимия здесь является структурообразующим принципом.

Паронимические связи в тексте могут располагаться линейно или же могут иметь более сложную структуру. Сохранить линейное движение довольно непросто хотя бы потому, что в стихотворении большого объёма, по мере развития текста, не удаётся избежать звуковых переключек с началом. Линейное движение в чистом виде не характерно для **Н.**, но некоторые короткие стихотворения построены именно так:

передовые облака

береговые облака  
берёзовые облака  
еловые тучи

тучи растут

А вот пример более сложной последовательности:

простой  
престол

на престоле  
человек

простой  
человек

простой  
Толстой

Эта последовательность плавно развивается вплоть до последней строки, которая поражает именно потому, что движение к ней казалось таким упорядоченным. Лишь оглядываясь назад, мы видим, что "Толстой" — это результат паронимического развития, это инвертированная комбинация "проСТОЙ" и "пресТОЛ" из первой строфы. Стихотворение, таким образом, имеет кольцевую композицию и на звуковом, и на смысловом уровне: на простом престоле восседает "простой" Толстой.

Часто ядром паронимической последовательности является имя собственное; так построено, например, стихотворение о человеке, которого **Н.** считает лучшим из современных русских поэтов:

а откуда же тогда  
Окуджава

а

уважаемая наша  
душа

Текст у **Н.**, как правило, вырастает из речевого сгустка — от простого слова, имени, банальной фразы из бытового разговора до знаменитой стихотворной строки или политического лозунга. Стихотворение кажется спонтанно возникающим из самого языкового материала, а не спланированным заранее, как то бывает в рифмованных стихах.

Слово или короткая фраза может повторяться до тех пор, пока не превратится в некий звукоряд:

нет и нет  
и нет и нет  
и нет и нет  
и нет и нет  
и нет  
и нет  
и нет  
и нет  
и нет

и я нет

Такие стихи понравились бы двухлетнему ребёнку, и во многих вещах **Н.** есть свойственная детям склонность к языковой игре. Это определило его успех в качестве детского поэта. Однако те же приёмы могут быть использованы во вполне "взрослых" целях.

Вот ещё один пример подобного рода:

Ну и как

Да так  
Как-то

так окно  
так окно  
так окно

Ну так  
надо только  
отойти от окна

— — — — —

там  
много

Почти неартикулируемый диалог состоит из клише. Один из говорящих, кажется, смотрит из окна на другие окна через дорогу. Окна могут означать доступ к миру, препятствие, источник света, уходящие дни, места, где живут другие люди, и т.п. Чтобы спастись от мыслей, вызываемых этими окнами, надо отойти.

Особый способ паронимической техники **Н.** представляет собой использование примечаний. Примечания — эти знаки академического письма — иронически контрастируют с разговорным тоном, преоблада-

дающим в стихах **Н.**, и вносят в текст привкус игры. Звёздочка — развилка на дороге чтения: нельзя идти по двум дорогам сразу, нужно вернуться назад, по какой бы дороге ты не пошёл сначала. Стихи **Н.** обычно короткие, и сноска часто находится близко от своей звездочки, лишь в незначительной степени прерывая последовательное восприятие текста. Но есть случаи, когда сноска существенно затрудняет движение читателя по тексту. Сноски открывают возможность раздвоения текста, и новые ветви могут закончиться двумя разными семантическими или фонетическими фактами. Вот пример:

рот заткните  
 возьмите  
 потяните за язык

трудно высказать  
 и не высказать

и как вам сказать

-----

чувство  
 безграничной любви

После первой строфы с оскорбительным требованием замолчать, вторая строфа — цитата из "Подмосковных вечеров" — звучит как ироническая перифраза. Намечается и другая отсылка — к "Silentium!" Тютчева, вводящая древнюю проблему адекватного выражения наиболее глубоких мыслей. Дойдя до звёздочки, стихотворение раздваивается и приводит к двум различным выводам: "основная часть" заканчивается клише, обозначающим невозможность или нежелание выразить своё мнение, а сноска, продолжая тему песни, говорит о сильной положительной эмоции, и тоже посредством клише.

У **Н.** есть стихи, создающие — насколько такая вещь в литературе возможна — впечатление настоящей полифонии. Стихотворение может разветвляться на две колонки, которые воспринимаются одновременно и в то же время каждая самостоятельно. Звуковая и тематическая структура каждой из колонок поддерживает их самостоятельность, в то время как диалогическая природа заставляет их соотносить. Virtuозный образец этого — стихотворение "Живу и вижу" (по техническим причинам здесь невозможно воспроизвести этот текст; см., напр., публикацию его в журнале "Дружба народов" (1989. № 8) или в сб. Всеволода Некрасова "Стихи из журнала" — *прим. пер.*).

В технике, которую мы описали, есть свои слабости и опасность провалов. Можно стать слишком герметичным, произведение может зависеть от культурного или иного контекста настолько, что будет понятно лишь узкому кругу друзей. Кроме того, принцип построения текста может быть слишком прост, сразу очевиден, и читатель потеряет интерес. Если первая опасность, в сущности, всегда угрожает поэзии,

то последняя угрожает именно концептуализму, конкретной поэзии, где замысел подчас удачнее его воплощения. Некоторые из некрасовских графических, ономастических и построенных исключительно на повторе стихотворений балансируют на грани элементарного. Но в целом творчеству Всеволода Некрасова свойственна смысловая сложность и утонченность, — тем более удивительная, что она достигается обманчиво простыми средствами и при помощи скромного словесного материала.

Подготовка материала  
**Г.В. Зыковой**



## АЛЕКСАНДР ДОБРОЛЮБОВ

Имя Александра Михайловича Добролюбова (1876—1942 или 1943) стало, как и имя Ивана Коневско́го, символистской легендой. Тому способствовала прежде всего его жизнь, биография, уход поэта "в народ". А.М. Добролюбов родился в Варшаве, в семье чиновника, действительного статского советника. Приходился дальним родственником известному критику-демократу Н.А. Добролюбову. Учился в гимназии в Варшаве, продолжил учение в Петербурге, куда, со смертью отца, в 1892 году переехала семья. Поступил в 1895 году на историко-филологический факультет Петербургского университета. Писать стихи начал ещё гимназистом. В том же 1895 году выпустил сборник стихотворений "Natura naturans. Natura naturata." В 1896—1897 годах готовил второй сборник стихотворений, но его рукопись затерялась в типографии. Добролюбова студенческих лет современники запомнили как мистически настроенного юношу, приверженца "нового искусства", пропитанного, по словам В.Я. Брюсова, "самим духом декадентства". Он курил гашиш, по-особому, вызывающе одевался, эксцентрично вёл себя на публике. Рассказывали о чёрных мессах на его квартире, о его проповедях самоубийства как высшем выражении свободы человека. Сборник стихов "Natura naturans" необычайной стилистикой, неясными отсылками к живописи и музыке, посвящением "Моим великим учителям Гюго, Рихарду Вагнеру, Россетти и Никонову" (последний был никому неведом) вызвал изумление, "ошеломил читателя, — пишет П.П. Перцов, — как свалившийся на голову кирпич". В 1900 году, когда Добролюбова уже не было в Петербурге, Брюсов подготовил к печати и издал его вторую книгу "Собрание стихов".

Юный Добролюбов был захвачен не только декадентскими веяниями, воздействовало на него и учение Л.Н. Толстого. Духовный кризис поэта, по словам некоторых мемуаристов, был вызван самоубийством одного или двух молодых людей, поддавшихся его проповедям. Не закончив университет, весной 1898 года Добролюбов оставляет Петербург, бросает литературу и отправляется странствовать по Олонецкой и Архангельской губерниям; какое-то время живёт в Соловецком монастыре, готовится принять послушание, но вскоре покидает монастырь. В начале 1900-х годов он перебирается в Поволжье, в Саратовскую губернию (Николаевский и Бузулукский уезды), где жило немало

сектантов-молокан, и проповедует среди них своё учение. Складывается община его последователей — "добролюбовцев", "братков". Добролюбов прозывался у них "братом Александром", носил крестьянскую одежду, жил аскетом. Отрицая книжную образованность, он запрещал приверженцам общаться с просвещёнными людьми, проповедовал физический труд, отказ от собственности, нищенский образ жизни. Видимо, не чужд был деспотическим замашек: известен случай "бунта" "добролюбовцев" против своего руководителя. За отказ от воинской службы Добролюбов подвергался аресту, не раз попадал в тюрьму, однажды, по настоянию матери, был помещён в психиатрическую лечебницу в Петербурге. После Поволжья судьба забросила его в Сибирь, под Омск, где он трудился на землекопных работах; затем два года жил в Средней Азии, а к тридцатым годам нашего столетия поселяется в глухих районах Азербайджана, работая с артелью печников. В Азербайджане Добролюбов и скончался, но никаких документальных подробностей об этом не сохранилось.

Во время своих странствий Добролюбов рассылал письма по разнообразным адресам, писал В.Я. Брюсову и Д.С. Мережковскому, Эмилю Верхарну и Л.Н. Толстому, Н.М. Минскому и Морису Метерлинку. Дважды посетил Толстого в Ясной Поляне. В первое свидание (сентябрь 1903 года) Лев Николаевич даже обманулся, приняв его поначалу за странника-крестьянина. Толстому Добролюбов в общем понравился, но к его сектантской деятельности он отнёсся отрицательно: "...всякое выделение себя от людей в кучку праведников, по-моему, грех", — писал он Добролюбову. А Добролюбов в письмах к Толстому увещевал писателя вернуться "к телесному труду" и полностью освободиться от собственности. Такие же призывы звучали в его письмах и к другим писателям. В 1905 году Добролюбов прислал в издательство "Скорпион" сборник стихов "Из книги Невидимой", в которых мотивы благочестия сочетались с мотивами покаяния, с восхвалениями нищего жития. В сборник входила часть сектантских песнопений, сочинённых автором. Однако Добролюбов в ту пору утверждал, что стихи ему диктует "в минуты духовного просветления" сам Господь. В тот же год книга была напечатана.

В тридцатых годах Добролюбов неоднократно появлялся в Москве, но затем почти бесследно исчезал, хотя в 1938 году направил письмо В.Д. Бонч-Бруевичу, изъявляя желание вернуться к литературной работе. Сохранилось его последнее послание к единомышленникам, датированное 24 августа 1940 года. В нём Добролюбов говорил о своих религиозных исканиях, об их итоге. Он писал: "Я откинул всякое признание высшего существа свыше личности человека. Свет, который я ощутил ясно внутренним взором своим, который я принимал за свет какого-то особого существа — это был свет моей личности... Бога я признаю только как добро. Всякое другое понятие для меня рабство". По сути это была уже позиция атеиста.

Поэт называл себя "рыцарем странствующего ордена". Символисты оценивали его уход "в народ" как подвиг, как некое осуществление их религиозных чаяний, выход из бездн декадентского нигилизма к духовному сближению с простым человеком. Мережковский сравнивал Добролюбова с Франциском Ассизским, Андрей Белый — с Некрасовским Власом и только Брюсов следил за приключениями Добролюбова более трезво, с нескрываемым скепсисом. А литератор-современник П.П. Перцов искания Добролюбова характеризовал так: «То он — демонист, намеревающийся "проповедовать дьявола и свободу", то, тотчас же вслед за тем, церковник, уверовавший "во все обряды", то почти молоканин, то иконоборец, едва не попавший за истребление икон на каторгу». Валерий Брюсов, резко возражая тем, кто видел в Добролюбове умалишённого, говорил, что он "очень умён", а в дни своей молодости, в дневнике 1898 года, записал такое суждение о Добролюбове: "Несомненно, он — талантливейший и оригинальнейший из нас, из числа новых поэтов".

**Н.В. Банников**

---



\* \* \*

Встал ли я ночью? утром ли встал?  
 Свечи задуть иль зажечь приказал?  
 С кем говорил я? один ли молчал?  
 Что собирал? что потерял?  
 — Где улыбнулись? Кто зарыдал?

Где? на равнине? иль в горной стране?  
 Отрок ли я, иль звезда в вышине?  
 Вспомнил ли что, иль забыл в полусне?  
 Я ль над цветком, иль могила на мне?  
 Я ли весна, иль грушу о весне?

Воды ль струятся? кипит ли вино?  
 Всё ли различно? всё ли одно?  
 Я ль в поле тёмном? Я ль поле тёмно?  
 Отрок ли я? или умер давно?  
 — Всё пожелал? или всё суждено?

⟨1900⟩

### **Прошедшее, настоящее и грядущее**

Вы идёте своею тропинкой,  
 Разделяя собою две пропасти,  
 Пропасть прошедшего и пропасть грядущего,  
 Непрерывно убегающие от вас  
 И вечно чуждые вам.

Вы ступаете только там, где ступаете;  
Ваша жизнь только там, где мгновение,  
Где преходящее, где всё убегает, где нет ничего!  
Но старайтесь быть мудрым и радостным:  
Наслаждайтесь небытием бытия.

И бойтесь мечтаний о чуждом:  
Воспоминание осталось в лесной глубине,  
И да не сияет оно перед вами  
Назойливым светлым жилищем,  
Навеки затерянным, навеки родным...

Пусть живёт настоящее сильно  
И торжествует в трезвой красе!  
Но да будет ослепительней трезвости  
Молодого грядущего даль!  
И не бойтесь подобных мечтаний!

Там я слышу звуки военных рогов!  
Вижу чей-то безрадостный взор!  
Там, быть может, воскреснет и воля моя  
И проявит всесилье своё!  
Там желает и ожидает она воплощений своих.

\* \* \*

Я вернусь к вам, поля и дороги родные,  
Вы года, что, как други, всегда окружали меня.  
С утра дней я стремился к вам, реки живые,  
Но суровые люди, слепая стихия  
Уносили меня от небесного дня.

Но однажды я вырвался из толпы нелюдимою  
И бежал к тем рекам моим — верным, любимым.

Я ходил среди лесов в просторе и свободе,  
Я не думал, как люди глядят на меня,  
Мне уют был готов в самом низком народе,  
Сёстры-птички в лесах примечали меня.

Рано утром однажды открыл мне Он двери,  
Возлюбленным громко и тайно назвал,  
Мы пошли в твои горы, и юные звери  
Нас встречали, склонясь у подножия скал.

Я вернусь к вам, пути и дни, мне святые,  
Я вернусь к вам, скорбя и живя и любя,  
Все хвалы, все сокровища наши земные  
И всю праведность также отдам за Тебя.

Я покрою себя золотым одеяньем,  
Возвратит мне блистанье сестрица весна,  
Я оденусь навек белизной и блистаньем  
И весеннего выпью с друзьями вина.

Этот город боролся с моей чистотою.  
С моей верой боролись и лучшие их,  
И потом же они посмеялись над мною,  
Заклучили меня в тесных тюрьмах своих.

Зато выслушай, город, — я тебе объявляю:  
Смертью дышат твой мрак и краса твоих стен.  
И тюрьму и твой храм наравне отвергаю,  
В твоём знанье и вере одинаков твой плен.

### **Жалоба берёзки под Троицын день**

Под самый под корень её подрезал он,  
За вершинку ухмыляясь брал,  
С комля сок, как слеза, бежал,  
К матери сырой земле бежал.  
Глядеть на зелёную-то радостно,  
На подкошенную больно жалобно.

Принесли меня в жертву богу неведомому,  
Срубили в начале светлой весны,  
Продали в великий праздник весны.  
Все порадовались листе моей,  
Никто не помог жалобе моей,  
Каждый ухмыляясь подходил,  
Каждый насмехаясь говорил...

### **Примиренье с землёй и зверями**

Мир и мир горам, мир и мир лесам,  
Всякой твари мир объявляю я.  
И идут уже зайцы робкие,  
Песня им любя, вразумительна.  
Загорелись огнём все былиночки,  
Струи чистые в родниках поднимаются.

За рекой песня чистая разглашается:  
То горят в лучах камни дикие  
И поют свою песню древнюю,  
То ли думушку вековечную,  
Испокон веков необъявленную.  
Песню братскую принимаю я...  
Вот у ног моих козы горные,  
Лижут руки мои лоси глупые...  
Ай вы, звери мои, вы, свободные!  
Путь у каждого неизведанный,  
Вы идёте своим ли одним путём.  
Только мирную чело­вечью речь принимайте!  
Вот, медведи, вам мирный заговор:  
Вы не трогайте жеребёночка,  
Пощадите крестьянскую животинушку...  
Ай, вы, змеи ползучие, подко­лодные!  
Вы не жальте нас на родных полях,  
Недосуг болеть да крестьянствовать в пашню жаркую.  
Все примите мир — слово крепкое:  
Чтоб отныне ли, даже до веку,  
С нами праздновать воскресение!  
Чтоб ветра текли только тихие,  
Волки прыткие на своих местах застоялись бы,  
Чтоб былиночек пона­прасну не обидели,  
Чтоб трава расти не росла в тот день,  
Чтоб в согласный день согласились все  
Погрузиться в глубокое размышление!  
На один только день эта заповедь:  
Вновь растёт трава укреп­лённая.  
Мир и мир людям, мир и мир зверям,  
Начинают работу совме­стную и вселенскую,  
Но работа та животворная,  
Не погибнет нигде и сухой листок,  
Не ломает никто даже веточки.

(1905)

\* \* \*

Город и камень:  
Нищая братия,  
Плачьте, нищая братия!  
Стены в туманах;  
Молитесь боярам великим,  
Знаменье творите!

Окно моё непорочно;  
Богу одному поклоняюсь,  
Тихий цвет зарянице;  
Нози мои белы,  
Ходят по белым дорогам.

Нози мои белы,  
Богу одному поклоняюсь;  
Молитесь, нищая братия,  
Молитесь боярам великим,  
Плачьте предо мною,  
Плачьте и молитесь.

### Покойному другу

Немного осталось мгновений... Пока не покорен я снова  
привычкам и сну,  
Войди же бесшумно в вечерний покой!  
Уехали братья, сёстры и мать. Я один.  
Великая грусть по тебе побеждает меня.

О милый! не смейся сей сухости грусти!  
Все великие чувства имели сопутника — холодность.  
Почему-то я верю, что ты при жизни томился любовью ко мне?  
За здравье твоё я глотаю горькую брагу.

### Solo

Она угасла, потому что настала зима. Она угасла, потому что  
устали крылья.  
Горькое, непонятное заблуждение! Смешное недоумение ребёнка!  
Они думают, что она вечна. Они верят в её бессмертие.  
Горькое, непонятное заблуждение! Смешное недоумение ребёнка!  
Я не пришёл будить тебя. Я не пришёл звать тебя.  
Тяжела могильная плита. Ещё тяжелее веки умершего.  
Ты знаешь, что вянут молодые берёзы. Ты знаешь, что листья  
засохшие шепчутся с ветром.  
Тяжела могильная плита. Ещё тяжелее веки умершего.

\* \* \*

*Чаща лесная,  
Где бродят отшельники,  
— Радость моя!*

*Из песен Будды-Гаутамы*

Мир вам, о горы!  
Молчанье ночи  
— Сила моя.  
Молитва единая,  
Имя единое  
— Скала моя.  
Чаща лесная,  
Где бродят отшельники,  
— Радость моя.  
Где прыгают зайцы,  
Где горные козы,  
— Земля моя.  
Сны и виденья —  
Призраки мира  
И мир невещественный  
— Борьба моя.  
Цепи, дороги,  
Тюрьмы, свобода  
— Судьба моя.  
Рубище странника,  
В нём алмаз драгоценный  
— Тайна моя.



### Георгий Адамович о Мандельштаме

Сведения о взаимоотношениях Георгия Адамовича и Осипа Мандельштама более чем скудны. В Петербург Адамович (москвич по рождению) был отвезён ребёнком. Здесь он закончил 1-ю петербургскую гимназию, здесь он – с 1910 по 1917 год – учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Именно в эти годы он знакомится с Георгием Ивановым и Осипом Мандельштамом (с Николаем Гумилёвым он успел познакомиться ещё гимназистом). В начале 1914 года Георгий Адамович становится членом Цеха Поэтов.

О дружбе Георгия Иванова и Мандельштама одно время ходили легенды, говорили, что у них была даже общая визитная карточка (ни в одном архиве, впрочем, она так и не была обнаружена). Дружба двух “Жоржей” – Иванова и Адамовича – была столь же тесной. С Мандельштамом, по всей видимости, Адамович общался не столь часто, но поэзию его ценил высоко, в Париже читал о нём лекции.

Из других высказываний о Мандельштаме стоит упомянуть заметку Адамовича “По поводу собрания сочинений Осипа Мандельштама” (об издании, подготовленном Г. Струве и Б. Филипповым). Один эпизод этого отклика хотелось бы привести в качестве дополнения к публикуемой нами статье:

“Вновь шелестят истлевшие афиши,  
И слабо пахнет апельсиновой коркой...”

Текст правильный, во всяком случае такой, каким был в рукописи Мандельштама. Необходимо однако сделать к нему примечание.

При появлении этого стихотворения (речь идёт, как догадался читатель, о стихотворении “Я не увижу знаменитой “Федры”...” – *прим. ред.*), – если не ошибаюсь, в “Гиперборее”, – была допущена опечатка, и вместо “слабо” стояло “слава”.

И слава пахнет апельсиновой коркой...

Гумилёв пришёл в восхищение, утверждал, что “слава” несравненно лучше, нежели “слабо”, и придумал даже целую теорию насчёт “ослышки музы”, ссылаясь при этом на Малэрба и другие знаменитые примеры такого рода. Под его влиянием Мандельштам всегда читал эти стихи со “славой”. Гумилёв любил и ценил их, кажется, больше всего, Мандельштамом написанного. На одном из вечеров в “Аполлоне”, незадолго до революции, Мандельштам читал их в присутствии Вячеслава Иванова. Тот отнесся к ним холодно, тут же превознося до небес довольно заурядные стихи, прочитанные В. Пястом. На Гумилёве лица не было. Оценку Вяч. Иванова он приписал его заведомой вражде к акмеизму и был тем более ею возмущен» (Опыты. Нью-Йорк, 1956. № 6. С. 93).

Всё остальное о поэзии Мандельштама и о своих отношениях с ним Георгий Адамович высказал в статье “Несколько слов о Мандельштаме” (впервые: Воздушные пути. Нью-Йорк, 1961. № 2. С. 87–101), которую, несомненно, можно поставить в ряд лучших произведений Адамовича-критика.

---

**ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ****Несколько слов о Мандельштаме**

Есть небольшой, тесный круг людей, которые знают, – не думают, не считают, а именно знают, – что Осип Мандельштам – замечательный поэт. Дождётся ли он когда-нибудь широкого признания, как дождался его в наше столетие Тютчев, или хотя бы Анненский, – о сколько-нибудь “широком” признании которого говорить, правда, не приходится, но к которому тянутся, и всё настойчивее тянутся, нити какого-то особого, ревнивого восхищения, будто в его прерывистом, “мучительном” шёпоте иные любители поэзии уловили нечто именно к ним обращённое, им завещанное, такое, чего не нашли они у других русских лириков. Будущее Мандельштама не ясно. Он может надолго, и даже, пожалуй, навсегда, остаться поэтом “для немногих”, – хотя, надо надеяться, эти “немногие” не дадут себя смутить или переубедить скептическим недоумением так называемой “толпы”.

Что в конце концов определяет общее значение и ценность поэтического творчества? Не только самый состав слов, органичность ритма, прелесть отдельных строк, острота или меткость образов, но и то целое, что творчество безотчётно выразило. Качество стихотворной ткани – на первом месте, при низком её качестве всё другое превращается в жалкие претензии, но не всё им исчерпывается. В этом смысле два величайших русских поэтических имени – Пушкин и Блок, и как бы ни поблекло кое-что из блоковского наследия, казавшегося когда-то головокружительно-прекрасным, – в частности “Двенадцать”, – Блок один в наш век Пушкину противостоит и до известной степени ему отвечает, и его продолжает. Добавлю, что многие стихи Блока – из “Земли в снегу”, из “Ночных часов”, из “Седого утра” – дают ему на это и сами по себе, то есть как стихи, неоспоримое право: Поэта надо судить не по срывам, и даже не по среднему его уровню, а по лучшему, что он дал, – и тут Блок за себя стоит. Несравненны у него интонации, – в “Поздней осенью из гавани...”, например! Блок был гением интонации, как до него Лермонтов, и забываемы у него эти его вопросы, почти дословно повторяющиеся, “за сердце хватающие”, будто проникнутые чувством круговой поруки перед тем, что может с человеком случиться. “В самом чистом, самом нежном саване сладко ль спать тебе, матрос?”, “Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?”...

Блок – это Россия, судьба и лицо России, как судьбой и лицом был Пушкин. Именно в этом их особенность, то, что их обоих выделяет и возвышает. Можно ли сказать, что пушкинские стихи, насильственно выхваченные из общего понятия “Пушкин”, лучше тютчевских? Нет, едва ли. Ответ самый правильный в том, что под непосредственным впечатлением некоторых пушкинских стихотворений кажется, что именно они в нашей литературе – лучшие, а под непосредственным впечатлением от Тютчева тоже кажется, что никто ни до, ни после него так по-русски не писал. “Эти бедные селенья...” – одна из самых удивительных и сияющих драгоценностей нашей поэзии, как и “Последняя любовь”, как и другое у Тютчева, – но так же, как и “Жил на свете...”, или “Когда для смертного...”<sup>1</sup> А всё-таки, всё-таки Тютчев – не Пушкин. Каждая вновь найденная записка Пушкина, два-три неизвестных слова его – событие, между тем как тютчевский архив не весь ещё и разобран, а если при разборе и вызовет интерес, то не вызовет волнения, только с одним Пушкиным и связанного. Кто мог пройти по Мойке мимо дома, где он умер, не ощутив в сотый раз того же, давно знакомого волнения? Кому из петербуржцев Петербург не был дорог хотя бы отчасти потому, что это пушкинский город, в “строгом, стройном виде” своём на Пушкина похожий? Нет, долго было бы говорить обо всём этом... 29 января 1837 года – роковая дата не только в русской литературе, а шире, в истории России, и чем больше о дне этом думаешь, тем последствия его представляются неисчислимае. Пушкин как будто держал Россию в руках, удерживал её, и когда его не стало, всё начало катиться под гору. Идеализировать пушкинский век, каков он был в реальности, со всем что было в нём жестокого и тёмного, бессмысленно. Но в пушкинском творчестве было обещание, было предвидение России, какой она в намеченных им линиях могла бы стать, и с его смертью всё это исчезло, линии оказались искривлены, видение – или не понято, или сознательно отвергнуто.

Блок слабее, но представлять Россию было дано и ему. Блок – это не только стихи, как и Пушкин – это не только стихи, а голос и тема, радость и мука, подъём и падение, свобода и гибель, – не

---

<sup>1</sup> “Эти бедные селенья...” – должно было бы остаться восьмистишием, а не стихотворением в двенадцать строк. Повторяя эти стихи вслух, сам себе, невольно выпускаешь вторую, резонёрски-славянофильскую строфу. В печати это, конечно, было бы непозволительно, – хотя Тургенев и исправлял Тютчева, и иногда делал это превосходно. Но мысленно, для себя – “всё позволено”, и переход от первой строфы к третьей совершается сам собой.

знаю, как сказать об этом яснее. Блок – второй вслед за Пушкиным корифей русской поэзии. Есть блоковский мир, как есть пушкинский мир. Есть царство Блока, и сознают они это или нет, все новейшие русские поэты – его подданные, даже если иные среди них и становятся подданными-бунтовщиками и подданными-отступниками.

Но нет мира мандельштамовского...

Невольно останавливаюсь и спрашиваю себя: что же есть? Мира нет, – что же есть? Есть скорей “разные стихотворения”, чем поэзия, как образ бытия, как момент в истории народа и страны, есть только разные, разрозненные стихотворения, – но такие, что при мысли о том, что их может быть удалось бы объединить и связать, кружится голова. Есть куски поэзии, осколки, тяжёлые обломки её, похожие на куски золота, есть отдельные строчки, – но такие, каких в наш век не было ни у одного из русских поэтов, ни у Блока, ни у Анненского. “Бессонница. Гомер. Тугие паруса...” – такой музыки не было ни у кого, едва ли не со времени Тютчева, и что ни вспомнишь, всё рядом кажется жидковатым. Когда-то, помню, Ахматова говорила, после одного из собраний “Цеха”: “сидит человек десять-двенадцать, читают стихи, то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг какой-то лебедь взлетает над всеми – читает Осип Эмильевич!”

У меня лично был другой опыт, и я хочу им поделиться: может быть кто-нибудь повторит и проверит его. Был в Париже литературный вечер, на котором мне пришлось говорить сначала о Мандельштаме, потом о Пастернаке, с соответствующими иллюстрациями, то есть чтением их стихов.

Не могу сказать, по-совести, чтобы я очень любил поэзию Пастернака, но что это поэт прирождённый, чрезвычайно даровитый и в своей даровитости, в своём творческом богатстве подкупающе-расточительный, этого отрицать нельзя (Вяч. Иванов заметил об Анненском, или точнее – о его последователях – “скупая нищета”, жестоко, но верно. Но именно из этой “скупой нищеты” ведь и вышли все эти перебои, замедления, мерцания, скрипы, вздохи, всё то, что создало единственный в своём роде, неповторимый “комплекс” поэзии Анненского! полная противоположность Крезу-Пастернаку, однако не только Крезу, а и дитяти-Пастернаку, “учащейся молодёжи”-Пастернаку, “вечному студенту”-Пастернаку)!<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Есть темы, которые стоили бы того, чтобы в них вдуматься и их разработать, хотя вероятно они так и останутся никем не задетыми. Одна из них – возможность победы Сальери над Моцартом, – не историческим Моцартом, которого не победит никогда никто, а над Моцар-

Был в Париже литературный вечер, и после стихов Манделштама пришлось мне читать стихи Пастернака. Признаюсь, я не ждал, что переход окажется настолько тягостен, и старался поскорее оборвать чтение: сухой, короткий, деревянный звук, удручающе-плоский после манделштамовской виолончели, после царственно-величавого его бархата! Да, словесный напор у Пастернака гораздо сильнее, метафорическая его фантазия неистощима, он будто гонится за словами, а потом слова бегут и гонятся за ним, и не то он ими владеет, не то они им, да, всё это взвивается и падает какими-то словесными фейерверками или фонтанами, рассыпается многоцветными, радужными брызгами, да, если мне скажут, что Пастернак талантливее Манделштама, я отвечу: может быть, не знаю, может быть... Но в поэзии ждёшь последнего, крайнего, незаменимого, – иначе какой в ней толк? После таинственного, короткого счастья, промелькнувшего с Манделштамом, на что мне блестящие метафоры? Маяковский назвал гениальным четверостишие Пастернака, где рифмуется “шекспирово” и “репетировал”. Это действительно блестящее четверостишие, на редкость находчивое, и в этой плоскости Манделштаму до Пастернака далеко. Но попробуйте прочесть вслух “Бессонницу”, или “В Петербурге мы сойдёмся снова”, а вслед за тем любое стихотворение Пастернака, – неужели не станет ошеломляюще-ясно, что все эти фейерверки немножко “ни к чему”, если из словосочетаний сравнительно с ними простых может возникнуть такая музыка, неужели люди действительно понимающие поэзию, чувствующие стихи, не согласятся, что это так?

Поэтов не надо сравнивать: это верно. Каждый сам по себе, как в природе: тополь, дуб, ландыш, репейник, папоротник, – всё живёт по-своему, и нет никаких “лучше” и “хуже”. Но это в теории, а на практике, пока стоит мир, люди сравнивать будут, пусть и сознавая, что сравнения никуда не ведут. Пушкин или Лермонтов? Об этом спорят гимназисты, но и Бунин в самые последние свои дни настойчиво говорил о том же, – говорил и удивлялся, что начинает клониться к Лермонтову. “И корни мои омывает холодное море”, всё повто-

---

том нарицательным. Есть, например, проблематическая, но в некоторых умах и сердцах уже почти осуществляющаяся победа Анненского над Блоком, есть несомненный реванш Бодлера над Виктором Гюго. Моцарты скользят, торопятся, Моцарты в силу своей одарённости ни на чем не задерживаются, и не всегда они улавливают, слышат, понимают то, что обогащает тружеников и мечтателей Сальери. У Поля Валери есть остроумное сравнение Бодлера по отношению Гюго с тем, как должны были на Наполеона смотреть Талейран или Меттерних: “погоди, погоди... наше время ещё придёт!”

рля он с каким-то чувственным наслаждением лермонтовскую строчку, особенно его прельстившую, – и как же было его не понять, даже с ним может быть и не соглашаясь? Нельзя жить беспристрастно, а тем более нельзя любить беспристрастно. Моё риторическое “неужели”, только что в связи с Пастернаком и Мандельштамом у меня вырвавшееся, ничего другого не выражает, кроме стремления пристрастие своё оправдать.

Отдельные строчки, куски чистейшего золота... Едва ли правильно было бы отнести к лучшему в мандельштамовском наследии его стихи законченные, чуть-чуть ложно-классические, не без державинских и даже ломоносовских отзвуков. Некоторые из них, правда, очень хороши, как, например, пятистопный ямбический отрывок о театре Расина, “Вновь шелестят истлевшие афиши и слабо пахнет апельсиновой коркой...” Но это – исключение. Большей же частью его длинные, композиционно-стройные стихи напоминают громоздкие полотна, когда-то представлявшиеся вершинами искусства, вроде брюлловского “Последнего дня Помпеи”. У него, вместе с глубоким внутренним патетизмом, было расположение к внешней торжественности, к звону, к “кимвалу бряцающему”, ему нравился Расин, но нравился и Озеров, и, по-видимому, понятие творческого “совершенства”, в противоположность тому, что безотчётно одушевляло его, казалось ему предпочтительнее понятия “чуда”. Может быть сказывалось влияние Гумилёва. Мандельштам очень дружил с ним, любил его, прислушивался к его суждениям, хотя и не в силах был преодолеть безразличия к тому, что тот писал. Помню точно, дословно одно его замечание о стихах Гумилёва: “Он пришёл на такую опушку, где и леса больше не осталось”. Гумилёвское чисто пластическое и несколько пресное “совершенство”, в лучшем случае восходящее к Теофилу Готье, явно казалось ему недостаточным, слишком лёгкой ценой купленным.

У Блока есть строчка, которая, пожалуй, вернее всего определяет самую сущность мандельштамовской поэзии, хотя у Блока она относится к женщине: “Бормотаний твоих жемчуга...” Мандельштам поднимается до высот своих именно там, где бормочет, будто чувствуя, что в логически-внятных стихах он сам себя обкрадывает и говорит не то, что сказать должен бы, – чувствуя это и в то же время не имея сил бормотание до логики довести.

Декабрь торжественный струит своё дыханье,  
Как будто в комнате тяжёлая Нева,  
Нет, не Соломинка, – Лигейя, умирание –  
Я научился вам, блаженные слова.

И дальше:

Я научился вам, блаженные слова,  
 Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита,  
 В огромной комнате тяжелая Нева  
 И голубая кровь струится из гранита  
 Декабрь торжественный сияет над Невой,  
 Двенадцать месяцев поют о смертном часе...

Это действительно – “высокое косноязычие”, по Гумилёву, да и можно ли было бы косноязычие это прояснить? Едва ли. Иногда слышится думать, что человеческая душа была бы беднее, если бы не отзвывалась она на то, что скорей смутно и сладостно ей что-то напоминает, чем её чему-либо учит или что-то ей рассказывает. В конце концов это – “звуки небес”, “по небу полуночи”: не объяснение, конечно, но верный ключ к тому, что такое поэзия, а что лишь беспомощно хочет поэзией стать.

А Есенин в Москве кричал Мандельштаму: “Вы не поэт, у вас глагольные рифмы!” Не могу и через сорок лет вспомнить об этом без неудержимо-вздыхающей ярости, – в сущности даже не лично к Есенину относящейся, не к нему, “блудному сыну” русской поэзии, которому сидеть бы в своей тихой Рязани и слагать бы свои песни, порой пронзительно-прелестные, в особенности под конец, когда он сам себя оплакивал и сводил с жизнью счёты. В Москве, в каком-то богемно-революционном “Стойле”, в чаду успехов и скандалов, в окружении всяческих имажинистов, конструктивистов и орнаменталистов, – что с него было спрашивать? Но Есенин – Мандельштаму! Кольцов – Тютчеву! И о чём, о глагольных рифмах, – не зная или забывая, какой выразительности можно иногда благодаря им достичь! (Вспомнил бы хотя бы:

Но лишь божественный глагол  
 До слуха чуткого коснётся,  
 Душа поэта встрепенётся...)

Думаю, незачем объяснять, почему мне хотелось бы поставить тут не один, а целых три или десять восклицательных знаков.

В течение нескольких лет, от 1912 до 1918 или 19 года, когда он уехал из Петербурга, я довольно часто с ним встречался, – в университете, где романо-германский семинарий ещё оставался лабораторией и штаб-квартирой акмеизма, в “Бродячей собаке”, в частных домах. Он бывал у меня, хотя никогда не звал меня к себе, – и насколько помню, не бывал у него на дому никто. Вероятно были условия, этому препятствовавшие.

Несмотря на сравнительно небольшую разницу в возрасте, я никак не могу сказать, что был действительно его “товарищем”. Никогда я не

перешёл с ним на “ты”. Он с первой встречи показался мне человеком настолько редким, да и престиж его, как поэта, был в нашей тогдашней среде настолько высок, что быть с ним “на дружеской ноге”, как Хлестаков с Пушкиным, я не решался, и должен сказать откровенно, слегка стеснялся его, чуть-чуть робел в его присутствии, особенно в начале знакомства, хотя оснований к этому он не давал ни малейших: в самом деле, трудно было бы назвать человека, который менее “важничал” бы и держался бы с большей простотой, естественностью и непринуждённостью.

Разговаривать с ним бывало не всегда легко, и разговор скольконибудь длительный превращался в своего рода умственное испытание, – потому, что следить за ходом его мысли нельзя было без услия.

Обыкновенно люди говорят, соблюдая связь логических посылок с заключениями, обосновывая выводы, постепенно переходя от одного суждения к другому – и переводя за собой слушателя. Мандельштам в разговоре логику отнюдь не отбрасывал, но ему казалось, что звенья между высказываемыми положениями ясны собеседнику так же, как ему самому, и он их пропускал. Он оказывал собеседнику доверие, поднимая его до себя, считая, что всякого рода “значит”, “ибо”, “следовательно” лишь загромождают речь и что без них можно обойтись: не “а есть б, б есть с, следовательно а есть с”, а прямо “а есть с”, как нечто самоочевидное. Но не всегда это бывало очевидно тому, к кому он обращался, во всяком случае не так мгновенно-очевидно, как ему самому, и потому разговор с Мандельштамом с глаз на глаз неизменно требовал напряжения, – тем более, что шутки, остроты, пародии, экспромты, смешки, прочно в мандельштамовской посмертной “легенде” утвердившиеся, всё это расцветало пышным цветом лишь на людях или хотя бы в обществе двух-трёх приятелей. Вдвоём, с глазу на глаз, шутить как-то неловко, даже глупо: всякий вероятно это испытывал и знает это по опыту. И при встречах одиночных от Мандельштама, будто бы всегда “давившегося смехом”, не оставалось ничего.

Не колеблясь я скажу, что от этих встреч осталось у меня воспоминание неизгладимое, ослепительное, и что по умственному блеску и умственной оригинальности, по качеству, по уровню этой оригинальности, Мандельштам был одним из двух самых исключительных поэтических натур, каких пришлось мне знать. Вторым был Борис Поплавский, метеор эмигрантской литературы, несчастный, гениально вдохновенный русский мальчик, наш Рэмбо. Одарённость Поплавского была, пожалуй, даже щедрее мандельштамовской, хотя у него отсутствовала мандельштамовская игольчатая острота и точность в суждениях. Она неслась потоком, захлёстывала, увлекала,

она то приводила к легковесным, наспех выдуманном декларациям, то к догадкам, которые действительно, взвешивая слова, хотелось определить как прозрения. Поплавский был противоречивее, сложнее Мандельштама, было в нём что-то порочное, было кажется и двуличие, которое порой от него отталкивало, – но не оттолкнуло бы, нет, если бы предвидеть, как рано оборвётся его жизнь! Он не дал и десятой доли того, что в силах был дать, и даже стихи его, при всём их очаровании, всё-таки не совсем устоялись, не утряслись, как будто не “просохли”. Но до чего это “Божией милостью стихи”! Да и проза тоже, – помнит ли кто-нибудь, например, удивительный рассказ его “Бал”, помещённый в “Числах”?

Двуличия в Мандельштаме не было и следа. Наоборот, он привлекал искренностью, непосредственностью. Одно воспоминание, с ним связанное, осталось мне дорого навсегда, – и вовсе не в литературном, не в поэтическом плане, а гораздо шире и больше: в качестве примера, как надо жить, что такое человек.

Было это в первый год после октябрьской революции. Времена были трудные, голодные. У нескольких молодых литераторов явилась мысль о небольшой сделке, – покупке и продаже каких-то книг, – которая могла оказаться довольно прибыльной: подробности я забыл, да они и не имеют значения, помню только, что требовалось разрешение Луначарского. А к Луначарскому у нас был доступ через одного из его секретарей, общего милейшего нашего приятеля, поэта Рюрика Ивнева (“Хорошо, что я не семейный, хорошо, что люблю я Русь...”).

Хлопоты тянулись долго. В конце концов стало известно, что ничего добиться нельзя, Луначарский разрешения не даёт. Не даёт, так не даёт, проживём как-нибудь и без него!

Однажды, вскоре после этого, я пришёл вечером в “Привал комедиантов”, где собирались бывшие завсегдатаи “Бродячей собаки”, в те годы уже закрытой. Пришёл очевидно рано, потому, что было пусто, – никого, кроме Мандельштама. Мы сели у огромного, но холодного, безнадежно-чёрного камина, стали разговаривать, – о стихах вообще, а потом о Пушкине. Разговор был восклицательный: помните это? а как хорошо то! – и так далее. Вдруг Мандельштам встал, нервно провёл рукой по лбу и сказал:

– Нет, это невозможно... Мы с вами говорим о Пушкине, а я вас обманываю!.. Я должен вам это сказать: я вас обманываю!

Оказалось, Луначарский разрешение дал, дело давно сделано, доход – какие-то гроши – поделён. Но зачем делить на пять, если можно разделить на четыре? Этот убедительный арифметический расчёт и был причиной того, что мне сообщили о неудаче предприятия.

Повторяю, для меня это осталось одним из самых дорогих воспоминаний о Манделъштаме. Обманывать, конечно, не хорошо, но кто из нас живёт, делая только то, что хорошо? Проверая себя, вполне допускаю, что если бы “в компанию” взяли меня, а исключили бы другого, я бы поддался уговорам и согласился бы. Но тогда не надо говорить о Пушкине, говорить в том тоне и духе, как говорили мы в тот вечер, – и конечно не о Пушкине только, а ни о чём, что любишь, чему ищешь ответного отклика: иначе – всё ложь, лицемерие, мерзость, нет никакой поэзии, незачем быть поэзии, и Манделъштам это почувствовал! По Державину – “всякий человек есть ложь”. Может быть. Но истинный образ человеческий проявляется в потребности преодоления лжи, и за одну минуту такого преодоления можно человеку простить обман в тысячу раз худший, чем тот, случайный и ничтожный, которого не вынес Манделъштам.

Перечитываю “Шум времени”, “Египетскую марку” и тщетно стараюсь найти в прозе Манделъштама то, что так неотразимо в его стихах. Нет, книгу лучше отложить. Цветисто и чопорно.

Проза поэта? Едва ли существует определение более двусмысленное, легче поддающееся разным толкованиям. Если язык поэта должен быть строже и опрятнее того обезличенного, средне-интеллигентского языка, который процветает в газетных передовых статьях, то разве Толстой или Гоголь не дали образцов именно такого, подлинно-творческого отношения к слову? Если язык поэта, по сравнению с языком великих романистов, должен оказаться несколько скуп, подсушен, сдержан, то разве восхитительная, – согласно Гоголю “благоуханная”, – проза Лермонтова не растекается по страницам “Героя нашего времени” с совершенной свободой? Что значит “проза поэта” – неизвестно. Неизвестно даже, похвала это или упрёк<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> В воспоминаниях Гольденвейзера о Ясной Поляне приведено чрезвычайно тонкое замечание Толстого об отличиях поэтического стиля от прозаического. Цитируя Тютчева

Лишь паутины тонкий волос  
Блестит на праздной борозде...

– Толстой утверждает, что в прозе сказать так было бы нельзя: надо было бы указать, что полевые работы окончены, надо было бы развить то, что у Тютчева сжато в одном эпитете “праздный”. Но экономия средств, в прозе по мнению Толстого неприемлемая, в стихах представляется ему прекрасной.

В прозе своей Мандельштам как будто теряется, – теряется потеряв музыку. Остаётся его ложно-классицизм, остаётся стремление к латыни, оснащённое модой 20-х годов, когда считалось – и с высоты студийных кафедр проповедывалось, – что метафорическая образность есть основное условие художественности и что тот, кто пишет “пошёл дождь” или “взошло солнце”, права на звание художника не имеет. К латыни же Мандельштам расположен был всегда, и порой в его “бормотания” она вклинивается с огромной силой (например, “Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить” – удивительная, действительно “тацитовская” строчка, где самоё звуковое насилие над первым “чтобы”, втиснутым в размер, как слово ямбическое, увеличивает выразительность стиха, подчёркивает соответствие ритма смыслу: рабов заставляют молчать, рабы угрожают восстанием... Вот мастерство поэта, в данном случае может быть и безотчётное, как часто бывает у мастеров подлинных!). Но в прозе Мандельштам не даёт передышки. Как мог он этого не почувствовать?

В качестве возможного объяснения, по аналогии, вспоминаю “Доктора Живаго”. В конце романа Пастернак от имени героя говорит о литературе, и говорит так верно, так пронизательно и убедительно, что многим нашим беллетристам следовало бы заучить эту страницу наизусть: именно о тщете картинности, образности, о необходимости стремиться к искусству, которое оставалось бы искусством неизвестно как и в силу чего. Но самый роман написан совсем по-другому: в назойливой своей “художественности” написан неизмеримо наивнее! С Мандельштамом случилось что-то довольно схожее. При своём уме и чутье он не мог не сознавать, что “Шум времени” увянет быстро и невозвратно. Но какие-то посторонние соображения, какие-то посторонние воздействия отвлекли его от пренебрежения к тем “vains ornements”, о которых говорит расиновская Федра в любимом его, вступительном стихе, дважды им переложеном в строчки русские.

Каковы его последние стихи, до сих пор в печати не появлявшиеся? Кое-что из них я знаю, и судя по тому немногому, что знаю, уверен, что в поэзии он остался на прежнем своём уровне. Или даже вырос. Но как-то трудно и страшно представить его себе, – практически и житейски всегда беспомощного, ни в малейшей степени не обладавшего даром “приспособляться”, – в трагической, беспощадной обстановке тех лет. Отчего умер он на Дальнем Востоке? Как забросило его туда, что ждало его там, останься он жив? Ничего, кроме смутных и противоречивых слухов, до нас не дошло.

В памяти моей образ Мандельштама неразрывно связан с воспоминанием об Анне Ахматовой. Их имена и должны бы войти рядом в ис-

торию русской поэзии. Он ценил её не меньше, чем она его, – и если бы всё это не было давним прошлым, я мог бы многое привести из его суждений и отзывов об ахматовских стихах. Помню собрание “Цеха”, на котором Ахматова прочла только что ею написанное стихотворение “Бесшумно бродили по дому...”, вызвав лихорадочно-восторженный монолог Мандельштама в ответ, – к удивлению Ахматовой, признавшейся потом, что вовсе не считает эти стихи особенно ей удавшимися. Помню обстоятельнее и твёрже то, что он говорил о действительно чудесном ахматовском восьмистишии:

Когда о горькой гибели моей  
Весть поздняя его коснется слуха...

Но это было не в “Цехе”, а в бесконечном, верстой в длину, университетском коридоре. Он ходил взад и вперёд, то и дело закидывал голову, и всё нараспев повторял эти строчки, особенно восхищаясь расстановкой слов, спондеической тяжестью словосочетания “весть поздняя”...

Всё это было очень давно, “иных уж нет, а те далече”. Но если бы Анне Андреевне попало когда-нибудь на глаза то, что я сейчас пишу, надеюсь она уловит между этими строками низкий поклон ей – издалека и без надежды на встречу.

*Публикация О.А. Коростелёва и С.Р. Федякина*



## ДИНАМИКА СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВЫХ СИТУАЦИЙ

Э.А. ГРИГОРЯН,

*кандидат филологических наук*

Языковая ситуация в бывшем СССР, долгие годы характеризовавшаяся стабильностью, в посткоммунистическом пространстве приобрела черты динамизма. Это связано с глобальными процессами дезинтеграции, ростом национального (и даже националистического) самосознания, усиленно навязываемыми политическими пигмеями своим народам розни и вражды.

Основные тенденции развития языковой ситуации и характер ее дальнейшей трансформации предугадать не очень трудно. Аналогичные процессы происходили не только в современном мире и не только у нас, да и история человечества предоставляет нам обширный материал для сравнений и сопоставлений. Но при всей своей типичности сегодняшняя языковая ситуация все же имеет на всем посткоммунистическом пространстве свою специфику.

Отдел изучения русского языка как средства межнационального общения Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской Академии наук при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного фонда организовал в 1994 году серию социолингвистических полевых исследований с целью выяснения роли русского языка в структуре языковых процессов, состояния русского языка как средства межнационального общения и других вопросов, связанных с функционированием русского языка в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья. Полевые исследования в разное время проводились в Российской Федерации (Ростовская область, Татарстан), а также в бывших союзных республиках (Киргизия, Узбекистан, Молдавия, Азербайджан, Литва, Латвия, Белоруссия).

Соответствующая база данных (База анкетных данных по русскому языку как средству межнационального общения — БАДРЯ) находится в стадии формирования. Тем не менее получены предварительные сведения, которые вполне отчетливо указывают на общие тенденции в изменении характера функционирования русского языка.

В первую очередь следует отметить изменения в мотивации овладения и употребления русского языка.

Русский язык в бывших союзных республиках вплоть до начала 90-х годов — это по преимуществу средство приобщения к культурным ценностям, получения хорошего образования. Только владея русским язы-

ком, можно было сделать карьеру, занять хорошую должность и т.д. Все это вкупе с очень высокой степенью экономической интеграции всех союзных республик и составляло мощную основу функционирования русского языка не только как средства межнационального общения, но, по существу, превращало его во второй (а в некоторых регионах и функционально первый) язык.

С ослаблением государственных экономических связей и культурных контактов эта мотивационная база, разумеется, не исчезла, но ее действие проявляется ныне по-иному.

Дело в том, что в отличие от новоиспеченных государств, народы не испытывают чувства взаимного отчуждения. И в первую очередь это касается сферы экономики. Соответствующие связи весьма интенсивно поддерживаются на уровне предпринимательской и просто торговой деятельности людей из разных регионов. Культурный и интеллектуальный секторы поля мотивации при этом действительно “сворачиваются”. Таким образом, “дикий рынок” как бы заменил и отодвинул на второй план все остальные факторы, обуславливающие функционирование русского языка как средства межнационального общения. Иными словами, структура мотивационного поля изменилась.

Наиболее серьезным последствием этого оказалось изменение социальной основы функционирования русского языка. В число говорящих на русском языке представителей интеллигенции, учащейся молодежи (а это основной костяк соответствующих двуязычных коллективов) влилась совершенно иная по социальной природе группа людей. По своему образовательному цензу она более разношерстна, мотивационная база ее языкового поведения интенсивна, необходимость в общении на русском языке обусловлена активной жизненной позицией, требующей реализации в коммерческом и хозяйственном аспектах. Иначе говоря, изменилась социальная база функционирования русского языка как средства межнационального общения. И в этом плане весьма перспективными и актуальными оказываются опросы среди именно этой социальной группы. Пробные анкеты показывают, что большинство этих людей имеют четкую ориентацию на овладение русским языком и использование его в своей каждодневной практической работе. Интересно, что при этом у них нет представления о качестве своей русской речи, и они не ощущают необходимости в ее совершенствовании. Этот факт может иметь для культуры русской речи весьма серьезные последствия.

Известно, что коллектив двуязычных людей по уровню владения языком весьма неоднороден. Здесь может встретиться и вполне кодифицированная русская речь и речь, изобилующая ошибками, но позволяющая решать какие-то коммуникативные задачи (тем более, что в свете указанного изменения мотивационной базы эти задачи весьма упростились). Долгие годы основным фактором поддержки до-

стойного уровня неисконной русской речи являлось организованное обучение русскому языку (кстати, имеющее хорошие традиции и опыт, особенно в области школьного и вузовского преподавания языка). В связи с принятием законов о языках в большинстве государственных образований бывшего СССР преподавание русского языка резко сократилось. Это уже привело к тому, что уровень владения языком снизился, особенно среди молодого поколения. И если раньше “молодое двуязычие” характеризовалось достаточно высоким уровнем речи, то сегодня этого сказать нельзя. Молодежи приходится общаться на русском языке, но языку их никто не учит. Ясно, что экономический фактор будет и дальше пополнять число говорящих на русском языке, но очевидно и то, что в создавшихся условиях неисконная русская речь будет формироваться не под влиянием лучших речевых образцов, а под влиянием уже существующего языка “дикого рынка”.

Рассмотрим теперь динамику языковой ситуации с точки зрения функционирования русского языка как средства межнационального общения в различных сферах.

Резко сократилось функционирование языка в сфере народного образования, причем исключительно за счет сокращения часов на его преподавание. Эта тенденция весьма определенно прослеживается в бывших союзных республиках. В меньшей мере этот процесс пока затронул республики, входящие в состав Российской Федерации. Здесь нельзя не отметить определенную специфику. Если в бывших союзных республиках русский язык в сфере школьного преподавания “конкурирует” только с соответствующими национальными языками, то в бывших автономиях (особенно в республиках Поволжья) в сферу школьного образования очень активно внедряется турецкий язык. Так, в двух национальных школах, недавно открытых в Казани, турецкий язык преподается не только как школьный предмет, на нем ведутся занятия по истории и географии. При этом престиж этого языка продолжает повышаться. Нельзя сказать, что власти сильно озабочены тем, что возможности, предоставляемые законами о языках, используются как бы не по адресу, не на развитие национальных языков, а на переориентацию школьного преподавания на иностранные языки, ранее имевшие ограниченное функционирование.

В целом данная тенденция прослеживается и в сфере высшего образования, но ситуация здесь несколько иная. Если можно закрыть глаза на необходимость обучения школьников русскому языку, то подготовить учителя или инженера без русскоязычной специальной литературы невозможно.

По официальным данным, в высших учебных заведениях таких государств, как Армения, Грузия, Азербайджан все преподавание осуществляется на соответствующих национальных языках, но на самом деле большинство специальных дисциплин продолжает преподаваться на русском языке.

На национальных отделениях естественно-географического факультета Казанского педагогического института практически все специальные дисциплины преподаются на русском языке. Правда, делаются попытки перевода преподавания некоторых дисциплин на татарский язык, что, собственно, и является основной проблемой национальных языков. Пока можно констатировать лишь попытки выработки научной терминологии на национальных языках, что должно послужить основой интенсификации их функционирования в сфере высшего образования и науки. Сегодня же ситуацию в этой области приходится оценивать как достаточно парадоксальную. Русский язык фактически продолжает использоваться в качестве языка науки и высшего образования, но это носит нерегламентированный характер.

В официально-государственной сфере функционирование русского языка сокращается в пользу национальных языков. Эта тенденция проявляется весьма отчетливо в бывших союзных республиках и в меньшей мере в бывших автономных государственных образованиях Российской Федерации.

В производственной сфере прослеживается та же тенденция. Несколько цифр: 28 процентов опрошенных в Киргизии отмечают, что на работе они используют киргизский язык, 15 процентов опрошенных в Татарстане предпочитают татарский язык. В бывших союзных республиках количество говорящих на работе на русском языке было гораздо больше. В остальных субъектах Российской Федерации существенных сдвигов в этом плане не произошло.

В нашей анкете основной акцент сделан на изучение реального положения русского языка в том или ином регионе. Добиться, однако, полной объективности удастся не всегда. И это связано с серьезными изменениями в восприятии русского языка, оценкой его функционирования. Как показывают предварительные результаты обработки анкет, оценка новых языковых ситуаций как однозначное свертывание функций русского языка не имеет реальной почвы. Изменилось, однако, отношение к факту использования русского языка в различных сферах. Prestиж русского языка сегодня обратно пропорционален его фактическому функционированию. Так, во всех вопросах, связанных с реальным положением русского языка, предусмотрен свободный вариант ответа. Наши респонденты из Казани объективно указывают, например, что в государственные учреждения они продолжают обращаться на русском языке. Из 400 опрошенных такой ответ дали 375 человек. 23 из них сочли необходимым указать в пустой графе, что это явление временное. Такие ответы встречаются практически во всем корпусе анкет и во всех регионах.

Особенно показательны в этом смысле ответы на вопрос: "Какой язык Вы считаете родным?" Выбор родного языка в первой серии наших опросов (1989—90) в большей мере зависел от функционального "веса" языка.

Так, 29 процентов донских армян, владеющих в одинаковой степени русским и армянским языками, называли родным языком русский, руководствуясь именно преимущественным использованием языка практически во всех сферах общения. Еще 12 процентов называли два родных языка. Интересно, что почти аналогичная картина наблюдается в Белоруссии. Во второй серии опросов ситуация несколько иная. Родным языком в основном называют язык своей национальности. В Казани из 400 опрошенных все участвующие в опросе татары назвали родным языком татарский. Результат на первый взгляд закономерный. Но 35 процентов этих респондентов слабо владеют татарским языком, не используют его в общении.

В наших анкетах есть вопрос "Как Вы относитесь к использованию того или иного языка на транспорте?" В первой серии опросов выбор ответа на этот вопрос не зависел от национальности или того, какой язык респондент считает родным. В большей мере это было связано с профессией. В самых ранних наших опросах встречаются даже ответы, где респонденты указывают на нецелесообразность использования на транспорте разных языков (что вполне понятно, если учесть управление воздушным и железнодорожным транспортом). В последующих сериях опросов в различных регионах при ответе на этот вопрос респонденты руководствуются соображениями ментального плана. Так, 15 чувашей, студентов филологического факультета Казанского педагогического института одобряют использование на городском транспорте татарского языка, но вместе с тем высказывают желание использования и чувашского языка. При этом никакие разумные контраргументы не принимаются (в Казани проживают чуть больше 12 тысяч чувашей, все владеют русским, а 9.700 еще и татарским).

В Белоруссии заметно увеличилось количество лиц, не владеющих белорусским языком, но при этом настаивающих на использовании на транспорте только белорусского языка.

Все это свидетельствует об усилении этно- и лингвоментальных мотивов языкового поведения национального и русскоязычного населения в исследованных нами регионах.

Таким образом, результаты предварительной обработки социолингвистического анкетирования позволяют сделать общий вывод об изменении характера функционирования русского языка как средства межнационального общения. Эти изменения выражаются в следующем:

- 1) Изменился (и продолжает изменяться) социальный состав говорящих на русском языке.

- 2) Наблюдаются серьезные сдвиги в мотивации применения русского языка и овладения им.

- 3) Продолжает снижаться качество неисконной русской речи. Особенно явно эта тенденция наблюдается у молодежи.

- 4) Престиж русского языка падает в двуязычных регионах, при этом

функционирование языка в нерегламентируемых сферах не сокращается, а в регламентируемых — сокращается, но медленнее, чем это предписывается законодательными актами.

5) Языковое поведение все больше ориентируется на этно- и лингвментальные аспекты.

И хотя русский язык продолжает играть важную роль средства общения на всем посткоммунистическом пространстве, этот факт не принимается во внимание в новых государствах. Применение русского языка не поощряется, порицается даже там, где это негативное отношение может быть выражено только по-русски.

Жизнь не стоит на месте. С каждым днем становится все очевиднее, что только полнокровное функционирование русского языка как средства межнационального общения может обеспечить все более нарастающее стремление народов к реинтеграции и сотрудничеству. И эту истину со временем неизбежно поймут и те, чьими осознанными или неосознанными действиями был дискредитирован великий язык в одной из наиболее жизненно важных для народов сфер — сфере межнационального общения и сотрудничества.



## “РАЗИНЬ, ДУШЕНЬКА, СВОЙ РОТИК”

*Т.Л. КОЗЛОВСКАЯ,*

*кандидат филологических наук*

Обратиться к теме употребления уменьшительно-ласкательных форм в речи носителей русского языка заставил эпизод, описанный в газете “Аргументы и факты” (1994. № 44): “В “Арбатском дворике” нас встретил швейцар, который по мере продвижения в глубь “Дворика” превратился сначала в гардеробщика и помог нам раздеться, а чуть позже взял на себя функции официанта и был, в общем-то, в этом качестве весьма сноровист, только почему-то все время прибавлял к названиям блюд уменьшительно-ласкательные суффиксы (“салатик-коктейльчик”... “жульенчик”... “рулетик”...), отчего все блюда приобретали странный сладковатый привкус. Кстати сказать, ни заказанного нами по меню “салатика-коктейльчика из крабов”, ни “жульенчика из птички” не оказалось...”

В том же духе, вспомним, обращался Манилов к Лизаньке, одна из фраз которого — название этой статьи.

Для того чтобы разобраться, насколько удачно или уместно употреблено слово, высказывание, полезно и любопытно иногда обратиться к оценкам языковых фактов другими носителями языка, прибегнуть, так сказать, к помощи авторитетов.

Касясь важности явления оценок речи, В.В. Виноградов писал: "...должны объективно-исторически анализироваться личные и общественно-групповые оценки разнообразных речевых явлений, характеризующих или иллюстрирующих состояние культуры речи в ту или иную эпоху или в той или иной функционально-языковой сфере" (Виноградов В.В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания // Вопросы языкознания. 1964. № 3).

Попытаемся выделить некоторые факторы, которые имеют определяющее значение в выработке оценки по отношению к уменьшительным образованиям в нашей речи. Все основные факторы — это явления экстралингвистического характера. Ситуация подобна той, которую определил Г.О. Винокур в отношении слова "извиняюсь"; его, как известно, учебниками и пособиями по стилистике употреблять в речи не рекомендуется. Г.О. Винокур писал: "...грамматически оно безупречно, и все его "несчастье" заключается просто в том, что экспрессия его есть экспрессия культурного провинциализма" (Винокур Г.О. Культура языка. М., 1929).

Так же безупречны с точки зрения грамматики уменьшительно-ласкательные формы, но оценка, почерпнутая нами из разных источников — текстов художественной литературы, научно-популярных работ, писем, биографических исследований и т.д. — это оценка, предупредим читателя, носит, в основном, негативный характер.

За уменьшительными формами закрепилась своеобразная "репутация" выражения психологии зависимости, униженности и т.п. По словам П. Антокольского, "все это сигналы притупленного чувства родного языка. Но за ними, сквозь них угадывается и так называемая психология". Черты этой психологии представлены в известных словах А. Куприна: "Это был язык богаделок и приживалок около "благотельниц": кусочек, чашечка, вилочка, ножичек, яичко, яблочко и т.д. Я питал и питаю отвращение к этим уменьшительным словам, признаку нищезнства и приниженности" (Куприна-Иорданская М.К. Годы молодости. М., 1966).

Отголосок такого "языка" находит Г.А. Золотова в случаях употребления уменьшительных слов в ежедневно встречающихся ситуациях общения: "У прилавка, в кафе, в поликлинике, у канцелярского стола, в телефонных разговорах то и дело приходится слышать: Будьте добры, колбаски полкило; Два билетика, прошу вас! Будьте любезны, подайте два салатика и две сосисочки!... Становится ли речь, уснащенная уменьшительными суффиксами, более вежливой? Вряд ли. За ними чувствуется не столько вежливость, сколько заискивающий тон, желание быть угодным, не натолкнуться на отказ" (Золотова Г.А. Как быть вежливым // Русская речь. 1985. № 5).

Присущие формам субъективной оценки особенности такого рода широко используются в художественной литературе с целью создания особого образа персонажа: "Чистенький, немножко плешивый, с золо-

тыми бачками около ушей, скромный, он всегда имел вид человека, готового услужить” (А.П. Чехов); “Он — чистенький, гладенький и тихонький. У него есть глазки, усики, губки, ручки и скрипочка. Он любит нежные песенки и варенье. Мне всегда хочется потрепать его по мордочке” (А.М. Горький).

Уменьшительные формы могут представлять систему эстетических и этических ценностей определенного социума. Лаконично и образно сущность таких ценностей обозначил Г. Шпет в “Эстетических фрагментах”: “...промышленный стиль — такая же историческая необходимость, какую некогда был стиль “мещанский”: с цветочками и стишками на голубеньких подвязочках”. В.В. Виноградов находил черты мещанского стиля даже в тех случаях, когда уменьшительно-ласкательные формы употреблялись в высказываниях, обращенных к ребенку, или в речи врача, желающего выразить сочувствие больному: “Дай маме ручку”; “Таблеточки принимаете? Выпишем пустырничек, валерьяночку” и т.д.

В статье “Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания” В.В. Виноградов анализирует язык героев комедии Л.Н. Толстого “Зараженное семейство”, направленной против Чернышевского и его сторонников. Комедия построена на контрастах словесных “масок” персонажей, некоторые выражения “ведут прямо к Чернышевскому и являются пародией на его язык”. Так, Венеровский, говоря с Любочкой, употребляет выражения “миленькая” и “моя миленькая” (“вы очень умны, миленькая”) — слово, которое коробит Любочку: “Не говорите: миленькая. Так нехорошо”. Это слово постоянно употребляет в романе Чернышевского Лопухов, называя жену “миленькая”, а она его — “миленький”. По мнению В.В. Виноградова, “Зараженное семейство” — это пародия на “Что делать?” и на язык тогдашней передовой разночинной интеллигенции. Как видно, Л.Н. Толстой претило такое словоупотребление.

О том, что Л.Н. Толстой не принимал Н.Г. Чернышевского с его идеологией, манерой художественного воплощения идей, свидетельствует и В. Набоков в романе “Дар”: «Толстой не выносил нашего героя. “Его так и слышишь, — писал он о нем, — тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности... И возмущаются в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза»». Эти слова Л.Н. Толстого с полным правом можно поставить в ряд ранее приведенных примеров, в которых роль уменьшительно-ласкательных форм определяется как роль средств изображения психологического портрета персонажей художественных произведений.

Собственная же оценка В. Набоковым речевой манеры разночинцев употреблять уменьшительные формы в речи выражена в упоминаемом романе в высказывании: “Пушкина нет в списке книг, доставленных Чернышевскому в крепость, да и немудрено: несмотря на заслуги Пушкина (“изобрел русскую поэзию... и приучил общество

ее читать”), это все-таки был прежде всего сочинитель остренных стихов о ножках (причем “ножки” в интонации шестидесятых годов, когда вся природа омещанилась, превратившись в “травку” и “ничужек”) — уже значило не то, что разумел Пушкин, а скорее немецкое “фюксен”.

“Пристрастие” разночинцев к уменьшительно-ласкательным формам можно объяснить, на наш взгляд, тем, что в среде этих людей складывалась философия общества “всеобщего счастья и благоденствия”. Идеалы любви, заботы, участливого отношения проявлялись в лексике “приятной”, в частности, в обращениях типа *миленький—миленькая* и т. п.

Уменьшительные образования — черта речевого портрета и другого социального класса: купечества. Но причины их присутствия в речи купцов другие: купцы — выходцы из деревни, и их лексикон отражает черты народно-речевой стихии. Ф.И. Шаляпин, хорошо знавший людей этого круга, так описывает путь московских купеческих семей: “Российский мужичок, вырвавшись из деревни смолоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца и промышленника в Москве. Он... весело выкрикивает свой товаришко и косым глазком хитро наблюдает за стежками жизни, как и что зашто и что к чему как пришить. Неказиста жизнь для него. ...Он ест требуху в дешевом тракторе, вприкусочку пьет чаек с черным хлебом. Его не смущает, каким товаром ему приходится торговать, торгуя разным. Сегодня иконами, завтра чулками, а то и книжечками... А там, глядь, уже и лавочка или заводик” (Думова Н. Московские меценаты. М., 1993). Уменьшительно-ласкательные слова в речи Ф.И. Шаляпина, — это своеобразная цитация речевой манеры купеческого класса.

Понятно, что в современном языковом сознании людей в оценке уменьшительных форм прямой связи, аналогии с приведенными примерами не существует. Но все-таки аура прошлой “жизни” присутствует в индивидуальных оценках носителей русского языка и нынешнего поколения, но еще в большей степени — старшего.

Существует еще один фактор, определяющий отношение к этим формам — лингвистический: наличие “чувствительной” семантики в этих словах. Именно по причине “чувствительности” форм с суффиксами уменьшительности-ласкательности они, как правило, отвергаются в качестве речевых единиц лицами мужского пола, особенно подросткового возраста. В разговоре довелось услышать мнение одного мужчины о том, как в подростковом возрасте они, мальчишки, уменьшительно-ласкательные формы не употребляли. Например, не могли сказать: *Катенька, досточка*, потому что в их среде это вызвало бы массу насмешек и издевательств. Считалось, что употреблять их могут только маменькины сыночки. Мальчишки стремились огрубить свою речь, что должно было свидетельствовать о настоящем мужском начале в них. Только потом, спустя несколь-

ко лет, этот человек вдруг понял, что может говорить *Танюша*, *Таня*, а не *Танька*, и это стало восприниматься им как нормальное явление.

Фактор “чувствительной” семантики, стоящий за уменьшительными формами, определил оценку в следующем высказывании Чехова, переданном Т.Л. Щепкиной-Куперник в воспоминаниях о нем: “Особенно советовал мне А.П. отделяться от “готовых слов” и штампов, вроде: “ночь тихо спускалась на землю”, “причудливые очертания гор”, “ледяные объятия тоски” и пр. И шутливо угрожал мне, что если в моих стихах встретятся “звездочки” или “цветочки”, то он выдаст меня замуж за Е-ва” (Щепкина-Куперник Т.Л. О Чехове // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986).

В связи с этим интересно наблюдение В. Швейцер, исследователя жизни и творчества Марины Цветаевой, о том, что наступил момент, когда из ее стихов ушли уменьшительно-ласкательные слова (Швейцер В. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 1992). Хотя другой исследователь недавно написал: “В своих гениальных стихах — снах среди бела дня Цветаева и из одного поцелуя в локоток или лобик может такую Манон Леско раскрутить, какая Мандельштаму и не снилась ни среди бела дня, ни среди глубокой ночи” (Невзоров Л. Марина Цветаева: гениальная женственность // МН. 1992. 11 окт.).

В статье “О грамотности” А.М. Горького по поводу уменьшительно-ласкательных слов в творчестве некоторых писателей сказано: «И таким “маслицем”, таким паточным языком сделан весь рассказ! Словечки автор подбирал мягкие, “трогающие за душу”: “хлебец”, “младенчик”, “маслице”, “кусочек”, “ватка”».

Крайне негативная оценка любого речевого явления, категорический отказ от его употребления в языкознании называется явлением лексической идиосинкразии. Для иллюстрации того, насколько сильной может быть идиосинкразия к уменьшительно-ласкательным образованиям, приведем только один пример: “И потом, по прошествии значительного времени после моего ухода из корпуса, если мне приходилось стать на руки, я сейчас же видел перед собой навощенный паркет рекреационного зала, десятки ног, идущих рядом с моими руками, и бороду моего классного наставника:

— Вы опять сегодня без сладенького.

Он всегда говорил уменьшительными словами, и это вызывало во мне непобедимое отвращение. Я не любил людей, употребляющих уменьшительные в ироническом смысле: нет более мелкой и бессильной подлости в языке. Я замечал, что к таким выражениям прибегают чаще всего или люди недостаточно культурные, или просто очень дурные, неизменно пребывающие в низости человеческой” (Газданов Г. Вечер с Клэр // Подвиг. 1991. Т. 2).

Другое объяснение явлению широкого распространения уменьшительных форм в речи носителей русского языка в послереволюцион-

ный период находим в лингвистических исследованиях тех лет: "Появление новых и распространение старых уменьшительных объясняется, очевидно, общей направленностью рабочего к снижению стиля и стремлением найти общий язык с руководимыми им широкими крестьянскими массами" (Литература и марксизм. 1931. Кн. 1). Принимая во внимание некоторую условность такого объяснения, последуем все же логике этого рассуждения и зададимся вопросом: а чем руководствуется сноровистый официант из "Арбатского дворика"?

и

го с  
купи  
черть  
этого  
сийски  
вать с  
Он...  
блюда  
то. Н  
вприк  
ром с  
ра чу  
дик"  
скат  
ре-

## Русское “заодно” как выражение жизненной позиции

И.Б. ЛЕВОНТИНА, А.Д. ШМЕЛЕВ,  
кандидат филологических наук

Сходим в баню,  
заодно и помоемся  
(Русская поговорка)

В русской речи постоянно встречаются такие высказывания: “Ты все равно встаешь, зажги заодно свет”; “Имей в виду, я много воды грею для уборки. Оставшиеся постираю кое-что для себя и Кати. Давай заодно и все свое грязное” (Б. Пастернак. Доктор Живаго). В них имеется в виду, что есть некоторый результат, который является желательным, но не настолько, чтобы оправдать усилия, направленные исключительно на его достижение. Однако, поскольку субъект все равно решает некоторую смежную задачу, он может достичь желаемого результата, почти не потратив дополнительных усилий. Не стоило бы вставать специально ради того, чтобы зажечь свет, но проходя мимо выключателя, повернуть его совсем нетрудно.

Упомянутые слова *специально* и *ради* выражают, в известном смысле, противоположную идею. *Специально ради чего-то* означает “именно и исключительно с данной целью”, которая тем самым, очевидно, обладает в глазах субъекта высокой ценностью. Многие вещи человек не стал бы делать *специально*, но готов сделать их *заодно*. И даже, в каком-то смысле, делает их именно потому, что большая часть необходимых усилий все равно уже затрачена: “Зачем ты постирала мою рубашку? – Да я так, заодно, все равно стирала”.

Близкие к *заодно* по значению слова *кстати* и *попутно* – “Пойду куплю газету. Кстати (попутно) посмотрю, открыта ли химчистка” – не содержат идеи мотивировки действия, их употребление предполагает лишь представление о том, что надо рационально организовать свою деятельность. Ср. неестественное – “Зачем ты постирала мою рубашку? – Да я так, кстати (попутно). Не случайно именно *кстати* и *попутно*, в отличие от *заодно*, нередко используются в качестве метатекстовых показателей (ср. *заметим кстати* или *попутно отметим*).

*Заодно* в высшей степени специфично для русского языка. С ним связана определенная установка, или жизненная стратегия, весьма характерная для носителей русского языка (в этом отношении *заодно* может соперничать со знаменитыми *авось* и *небось*). Конечно, такая по-

зация может быть свойственна и носителям других языков, но именно в русском языке мы находим слово, выражающее ее в концентрированной форме.

Можно выделить несколько наиболее характерных типов ситуаций, с которыми связывается русское *заодно*. Прежде всего, это ситуация побуждения к действию. Здесь можно выделить две разновидности: с одной стороны, “Ты все равно идешь гулять, купи *заодно* хлеба”, и с другой – “Сходи, пожалуйста, за хлебом, *заодно* воздухом подышишь”. Если в первом случае говорящий убеждает адресата совершить некоторые действия, ссылаясь на то, что тому это совсем нетрудно, то во втором говорящий соблазняет адресата возможностью без дополнительных усилий получить приятный для того результат. Этот тип аргументации представлен и в эпиграфе.

Следующий пример отличается неоднозначностью: “Приходи ко мне послезавтра в шесть, от меня посдем. Обсудим и устроим твои дела. *Заодно* развлечемся” (А. Рыбаков. Дети Арбата). То ли говорящий побуждает адресата приехать для обсуждения дел, прельщая его перспективой попутно развлечься, то ли он сулит возможность разрешения жизненно важных для адресата проблем, одновременно уговаривая не отказывать себе в небольших удовольствиях. В обоих случаях развлечения оказываются иерархически менее значимыми, чем перспектива трудоустройства. Интересно, что фраза остается правильной и при перестановке компонентов, сохраняется и возможность двоякого осмысления, однако в этом случае меняется иерархия ценностей, удовольствие становится важнее карьеры.

Более сложная стратегия реализуется в примерах типа “Хлеба еще немного есть, специально не ходи, если только *заодно*, когда пойдешь гулять”. Говорящий хочет умерить энтузиазм адресата или заранее умалить его заслуги, щадя его, а может быть, боясь оказаться у него в долгу.

Несколько иные функции имеет слово *заодно* в тех случаях, когда говорящий описывает собственные действия. Это слово позволяет уменьшить в тех или иных целях заинтересованность говорящего в результате действия: “Ходил за продуктами, *заодно* и водки купил”; “А я слышу – у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и *заодно* расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба...” (Вен. Ерофеев. Москва–Петушки). Поэтому, например, если говорящий жалуется на свою тяжелую жизнь, то это слово неуместно: “Совсем замоталась: с утра нужно было тащиться в собес, потом в сберкасса, в паспортный стол, да еще надо было *заодно* в прачечную зайти”.

Если речь идет о третьем лице, то функции *заодно* могут быть разными в зависимости от эмпатии, оценки ситуации и т.д. Ср. следующие примеры: “Вызвал Борис Иванович Сергея Сергеевича по какому-то делу и сперва обсудили само это дело, а уж потом, как бы *заодно*, Бо-

рис Иваныч и сообщил: – Да, Сергей Сергеевич, забыл тебе совсем сказать: тут на тебя кляуза пришла от этого твоего конкурента, черт бы его побрал” (В. Войнович. Иванькиада). Как бы указывает здесь на желание Бориса Иваныча исказить реальное соотношение значимости двух вопросов и представить дело так, будто не кляуза являлась подлинной причиной вызова. Ср. также: “У меня была няня Луиза Генриховна. Как немке ей грозил арест. Луиза Генриховна пряталась у нас. То есть попросту с нами жила. И заодно осуществляла мое воспитание. Кажется, мы ей совершенно не платили” (С. Довлатов. Чесодан). Этот пример замечателен тем, что интерпретация действия как осуществляемого *заодно* влечет за собой совершенно конкретные финансовые последствия.

Жизненная позиция, выражаемая словом *заодно*, хорошо согласуется с той особенностью русской ментальности, которая отражается в глаголе *собираться*. *Собираться* имеет ряд особенностей, отличающих его от русских синонимов *намереваться*, *намерен* и т.д. и европейских эквивалентов. В частности, в значении *собираться* есть элемент процессности, благодаря чему этот глагол может употребляться в контекстах типа “сиду и собираюсь ей позвонить”, “целый час лежу и собираюсь встать”. Ср. при этом неправильное “сиду и намереваюсь (намерен)”. В большинстве случаев имеется в виду некоторый совершенно метафизический процесс, не имеющий осязаемых проявлений. Итогом его, собственно, и является совершение действия.

Характерно, что форма совершенного вида *собраться* часто используется фактически в значении “сделать”: “Извините, что только сейчас собрался вам позвонить”. *Не собрался* означает “собирался, но не сделал”. Одна из самых характерных фраз русского языка – *собираться, да все никак не соберусь*. Таким образом, “сбирание” рассматривается как наиболее важный этап действия, который может представлять действие в целом.

Это свойство русского *собираться* рассмотрено Анной Зализняк и И.Б. Левонтиной в работе, которая скоро будет опубликована в журнале “Russian Linguistics”. В той же работе отмечается, что переживание намерения как процесс, отраженное в русском *собираться*, согласуется с расхожим представлением о русском национальном характере, состоящем в том, что русские “долго запрягают”. Отсутствие в характере человека такого свойства составляет его яркую индивидуальную особенность и характеризуется при помощи специального выражения – *легкий на подъем*. *Заодно* добавляет новый штрих к этой картине: ведь раз самое трудное в действии – это *собраться*, то коль скоро человек *собрался*, уже можно считать, что дело сделано, и человеку, в сущности, уже почти все равно, сколько дел делать. На того, кто непоспешным образом сумел приступить к активной деятельности, можно наваливать любое количество дел, все они будут делаться *заодно*.

Это согласуется с другим расхожим представлением – о крайностях

русской души: всё или ничего. Человек либо вообще ничего не делает, либо, если уж начал, может свернуть горы. Вспомним былинный образ богатыря, который полжизни просидел на печи, а потом встал и всех победил.

С другой стороны, поскольку *собраться* так трудно, мало что стоит делать *специально*. Почти обо всем можно сказать, что *лень*, или *неохота*, или просто *Да ну*. Однако стоит представить действие как осуществляемое *заодно*, и его совершение будет оправданно и даже будет казаться, что не совершить его было бы просто глупо. С другой стороны, первое действие в свою очередь оправдывается возможностью *заодно* сделать и еще что-то.

Эта логика продемонстрирована в рассуждении Л.Я. Гинзбург (Записи): “Человек ходит без дела по улицам, и ему кажется, что он теряет время. Ему кажется, что он теряет время, если он зашел поболтать к знакомым. Ему больше не кажется, что он теряет время, если он может сказать: я воспользовался вечерней прогулкой, чтобы зайти к NN, или – я воспользовался визитом к NN, чтобы наконец вечером прогуляться. Из сочетания двух ненужных дел возникает иллюзия одного нужного”. Этот пример интересен тем, что Л.Я. Гинзбург выражает свою мысль не идиоматично (по-русски не очень естественно звучит *Воспользоваться прогулкой, чтобы навестить...* и необычайно характерно что-то вроде *Пошел прогуляться и заодно навестил...*), считая, что речь идет о человеческой природе вообще, между тем как в действительности описанная ею установка скорее реализует жизненную позицию, заключенную в русском *заодно*.



## Иоанн Синайский и его “Лествица”

Т. Г. ПОПОВА

Иоанн Лествичник или Иоанн Синайский был игуменом Синайского монастыря, а Лествица – его главный литературный труд. В своей книге он обращался исключительно к тем, кто обрек себя на подвиг иночества и стремился к непрерывному нравственному совершенствованию. С IX века Иоанн Лествичник почитается византийской церковью как преподобный, и растет популярность его книги. Церковным уставом определено читать Лествицу в Великий пост с понедельника по четверг на утрени и на 3-м, 6-м и 9-м часах; в четвертое воскресенье Великого поста совершать память Иоанна Лествичника.

Интересна этимология слова *лествица*. Достаточно ранним вариантом этого слова, возникшим в результате переразложения основы по более актуальной модели имени существительного с суффиксом *-иц(a)* от прилагательного с суффиксом *-ьн-*, является хорошо известное слово *лестница*. Слово *лествица* – производное с суффиксом *\*-ic-* от *\*lēstiva*, до недавнего времени имело единственное, принятое всеми этимологами, объяснение: *\*lēzti* → *lēz - tiva* (> *lēstiva*).

На первый взгляд, это объяснение кажется безупречным и формально, и семантически, поскольку *лестница*, действительно, используется для подъема и спуска. Однако авторы Этимологического словаря славянских языков (Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1987. Вып. 14) задались вопросом: почему на значительной славянской территории *лестница* называется *\*lēsa, lěsьka*? Так же называется все, что имеет форму *лестницы*: боковые решетки воза, решетка в яслях и т.д. Словом *\*lēsa* обозначается и плетенка, ведь приставная *лестница* тоже по сути является плетенкой, решеткой.

Приставная *лестница* как предмет культуры претерпевала изменения в своем развитии. Первоначально в качестве *лестницы* использова-

лось молодое дерево с не до конца обрубленными суками, куда вставлялись поперечные палки, затем уже две жерди с поперечными планками. Такое дерево с не до конца обрубленными суками было многофункционально: оно служило бороной в особенности по целине (см. макед. *lesa* “борона” и праслав. *korda*, *skorda* “борона”), приспособлением для перевозки сена, соломы, дров, стропилами крыши под соломой и т.д. (Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. Этимология и опыт групповой реконструкции. М., 1966). При рассмотрении названий приставной лестницы в славянских языках, таких, как *ostru*, *-ъve*, *ostrogъ*, *dravina*, *stromina*, *rebrina* и т.д. обнаруживается полное совпадение с семантическим полем слова *lěstva*, при этом исходным везде выступает сочетание значений “драть” – плести. Таким образом, этимологию слова *lěstva* не следует считать окончательно решенной.

В названии памятника древнерусской письменности слово *лествица* буквально означает “то, с помощью чего поднимаются вверх”. Не случайно главы Лествицы именуются “степенями”, т.е. ступенями, ведущими вверх по лестнице нравственного усовершенствования личности. Всего таких “степеней” 30 – по числу лет жизни Иисуса Христа до крещения и начала проповеди, как сказано в одном из предисловий. Образ лестницы – морального восхождения был известен и ранее в учительной литературе того времени (встречается у Иоанна Златоуста, Феодорита Киррского, Макария Великого; в форме лестницы добродетелей из 17-ти ступеней написано наставление отца Пинуфия).

Эти 30 ступеней не являют собой строгой логической последовательности, а представляют лишь отдельные описания различных фаз душевного состояния, часто плохо разграниченных. Все главы связываются между собой общей идеей сочинения – мыслью о том, что иноческая жизнь есть путь непрерывного, трудного восхождения по лестнице духовного улучшения. Восхождение это достигается постоянным внимательным наблюдением за собою, за своими мыслями, чувствами и неуклонным искоренением тех из них, которые порочны. По мере постепенной победы над страстями иннок поднимается по ступеням духовных скрижалей. В этом подвиге борьбы ему больше всего должны помогать непрестанная память смерти, слезы сокрушения и умиления (по древнему славянскому переводу, *радостотворный плачь*) и полная отрешенность ото всего (*нечоутиє, рекше оумерцєниє доуиє*). Весь этот трудный путь внутреннего возрождения следует проходить разумно, сознательно – с *разсоуждениєм* (Архангельский А.С. К изучению древнерусской литературы: Творения отцов церкви в древнерусской письменности. СПб., 1888).

Помимо 30-ти рассказов списки Лествицы могут включать в себя краткое житие автора, написанное вскоре после его смерти монахом Раифского монастыря Даниилом, письмо к автору книги игумена Ра-

ифского монастыря Иоанна, ответное послание автора, небольшие предисловия и рисунок ведущей на небо лестницы.

На Руси Лествица была известна уже к 1073 году, цитата из нее включена в Изборник Святослава: “От лествица. Строуши обаваеми не спеуть пред ина горышее и исцельоуть. Ничто же бо тако бесомьи помыслом силы на ны дають яко же сия на исповедаемья в ср(д)ци кърмити”. На это творение указывают епископ Симеон в своем “Сказании о подвижниках Печорских” (1226), чернец Поликарп в повестях о святых иноках Печорских также ссылается на Лествичника (1235).

Всего славянских списков Лествицы известно более ста. Распределение их по времени показывает, что интерес к ней резко возрос в XIV веке – именно в этот период выписки из Лествицы наиболее часто проникают в тексты других произведений. Со второй четверти XV века популярность Лествицы идет на убыль, в конце XV – начале XVI веков вновь возрастает, а к XVII веку отмечается спад интереса к ней, как и вообще к психологической литературе.

В 1633 году были напечатаны все сочинения Иоанна Лествичника на греческом языке. Первопечатное московское издание Лествицы увидело свет в 1647 году, а в 1785 году оно было перепечатано в Варшаве старообрядцами.

Таким образом, Лествица была довольно хорошо известна русскому читателю. Интересна выдержка из письма одного крестьянина: “Да да(и) то(т) же Ива(н) книгу Лествицю да приве(з) Серги(и) по(л) аршина ба(р)хату синего” (Книга приходная Николо-Карельского монастыря 1572–1575 гг.).

Существует несколько древних славянских переводов Лествицы, древнейший из которых относится к периоду расцвета славянской письменности – приблизительно к X–XI векам, т.е. к тому времени, к которому относится и большая часть славянских переводов творений отцов церкви. Выполнен он был в Болгарии. А.В. Горский и К.И. Невоструев характеризуют его как “темный, маловразумительный, а во многих местах и совсем неверный” (Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1859. Ч. 2.).

Этими же учеными был обнаружен новый перевод Лествицы. А.В. Горский и К.И. Невоструев сравнили греческий текст и текст одного из списков (№ 142), хранившийся в Московской Синодальной библиотеке, и пришли к выводу, что “новый перевод более чист, вразумителен и правилен, нежели древний” (Горский, Невоструев. Указ. соч.). Этот перевод соответствует списку, написанному Киевским митрополитом Киприаном в Константинопольском Студийском монастыре в 6895 (1387) году. Замеченные А.В. Горским и К.И. Невоструевым особенности языка двух старших списков этой редакции, более или менее сгладившиеся в других списках, позволили им определить место нового перевода – Сербия.

Таким образом, А.В. Горский и К.И. Невоструев полагали, что все списки, значащиеся под №№ 142–146 в Описании славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки, “ведут свое начало от этого исправления сербского”. Время этого “исправления” они определяют “около 1370 года”. Старший список этого текста, до нас дошедший, написан митрополитом Киприаном, датирован 1387 годом (Горский, Невоструев. Указ. соч.). Стоит упомянуть, что русские получили исправленный сербами текст от болгар.

Кроме того, П.И. Шафарик, изучивший список Лествицы, хранящийся в Крушедоле (православный сербский монастырь в Венгрии) и написанный иеромонахом Давидом в 6942 (1434) году, нашел замечание о том, что князь Георгий Бранкович (1367–1457) собрал для сличения списков столетних старцев из Хиландаря (монастырь на Афоне, основанный в XII в. сербским царем Симеоном и его сыном Саввой, архиепископом сербским). Это позволило Шафарику сделать вывод о том, что рукопись “по повелению князя Георгия Бранковича была сличена по древним рукописям многими иноками Хиландарского монастыря, под председательством Браничевского митрополита Савватия” (Шафарик П.И. Обзорение примечательнейших памятников древнего времени у сербов и у других южных славян // *Jahrbücher der Litteratur. Wien*, 1831. Т. 53).

По мнению Л.П. Саенко, перевод был осуществлен, возможно, в Болгарии, еще до 1387 года, но не в Сербии около 1370 года, как считали А.В. Горский и К.И. Невоструев (Саенко Л.П. К истории славянского перевода Лествицы Иоанна Синайского // *Русско-болгарские связи в области книжного дела. М.*, 1981).

Л.П. Саенко впервые отмечено существование третьего перевода, который представлен, к примеру, в рукописи собрания Иосифо-Волоколамского монастыря (Российская Государственная библиотека. Ф. 113. № 463).

Кроме не менее трех переводов существовало несколько редакций Лествицы. К примеру, современная болгарская исследовательница Б. Христова раскрывает имя одного из редакторов – монах Марко. По ее мнению, он исправил самый первый перевод Лествицы в 1364 году (Христова Б. Монах Марко – неизвестен български книжовник и преводач от XIV век // *Старобългаристика. 1984. Т. 8. № 3*). Вследствие длительного бытования Лествицы на славянской территории возникли ее многочисленные списки.

Таким образом, со времени первого перевода Лествицы с греческого на болгарский язык (X–XI век) текст ее постоянно видоизменялся под пером переписчиков. Наличие нескольких переводов, редакций и множества списков обусловило многочисленные лексические разночтения в тексте. Интересен, к примеру, такой факт. В Новгородской Лествице 1431 года содержится словарь “Толкование неудобь познаваемых речем”. Само появление такого Толкования уже было опреде-

ленным симптомом, указывающим на необходимость обновления лексики Лествицы. А.Х. Востоков, А.В. Горский и К.И. Невоструев указывали на то, что в списках Лествицы XV–XVI веков, к которым прилагается Толкование, нет слов, объясняемых в словаре, так как “неудобь познаваемые речемы”, отмеченные древним комментатором лексики Лествицы в ее древнеболгарском переводе, к XV–XVI векам были уже устранены из текста или заменены другими, более употребительными в книжном языке того времени (Востоков А.Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842; Горский, Невоструев. Указ. соч.).

В заключение отметим, что этот интереснейший памятник древнерусской письменности, к сожалению, плохо изучен, до сих пор не издан. Незаслуженно забыто и то, что наши предки с большим уважением “взирали на ... устав великаго велегласнаго Лествичника, духовным степенем утвердителя”.

*Северодвинск*



## “В душевной простоте беседовать о Боге”

*М.Ю. ЛЮСТРОВ*

Ни один сколько-нибудь крупный поэт и писатель не мог не обратиться в своем творчестве к библейским сюжетам и темам. Библейские мотивы, связанные с Богом, явственно звучат в поэзии В.К. Тредиаковского, Г.Р. Державина, Я.Б. Княжнина, А.С. Пушкина, Н.М. Языкова, Ф.И. Тютчева и многих других выдающихся русских поэтов XVIII–XIX веков. Они перелагали древние тексты на язык современной философской поэзии, размышляли об отношениях Бога и человека.

Бог не только сотворил мир, но и показал его, осветил солнцем. Но мысль эта не нова для русского XVIII века. Еще в 3-м письме “О природе и человеке” А.Д. Кантемир писал: “Но надлежит взор вознести на небо и дивиться пречудному сему зданию, познавая всемогущую руку, которая над глазами нашими утвердила пространный и ужасный свод небесный”. В поэзии подобную мысль находим и в “Размышлении о божем величестве” М.В. Ломоносова, и в оде “О величестве божем” А.П. Сумарокова.

Людьми одной культурной эпохи были Г.Р. Державин и Я.Б. Княжнин, что и обусловило идейное сходство их стихотворений “Бог” и “Стансы Богу”.

Действительно, несмотря на различие в подходе к одному из серьезнейших вопросов русской поэзии XVIII века: существования и бытия Бога – оба поэта пишут стихотворения, имеющие много точек соприкосновения. В обоих текстах можно найти идейные, стилистические и лексические соответствия. Бесспорным кажется влияние одного стихотворения на другое.

Для обоих авторов Бог несравненно грандиознее своего гениально-

го творения. Однако если Державин говорит лишь о возможности постичь тварь, что само по себе не откроет сути творца, то Княжнин даже не задается этим вопросом:

Творец, Тебя понять не тщуся,  
 Всем сердцем как отца любя...

И Державин, и Княжнин заявляют о бесспорном существовании Бога, аргументируя этот тезис гениальным устройством Вселенной.

Всяк день то солнце повторяет  
 Сей благодти твоей залог,  
 И вся природа нам являет,  
 Что Бог не может быть не Бог.  
*Княжнин*

Светил возженных миллионы  
 В неизмеримости текут,  
 Твои они творят законы,  
 Лучи животворящи льют.  
*Державин*

Присутствие Бога не только чувствуется, но и доказывается. Солнце, в представлении обоих поэтов – наиболее яркое из произведений творца, постоянно доказывает грандиозность божественного творения. В природе нет ничего бессмысленного, все в ней продумано до мелочей и восхитительно стройно. Эта же идея проводится Державиным в его переложении восемнадцатого псалма:

Всем закон природы зримый, ясный  
 Может смертным доказать:  
 Без Творца столь стройный мир, прекрасный  
 Сей не может пребывать.

Отсутствие интереса Княжнина к этой проблеме объясняется тем, что поэта занимает не столько сам Бог, сколько Творец в его отношениях со своим главным творением – человеком. Об этом же говорит и Державин:

И чтоб чрез смерть я возвратился,  
 Отец, в бессмертие Твое.

Но его в меньшей степени, чем Княжнина, интересует моральный аспект этой проблемы. Автор “Стансов Богу” изображает себя одновременно и представителем неблагодарного рода человеческого:

Не Ты виновен, что мы, люди,  
 Желая все богами быть,  
 Вздывая гордо наши груди...

и отдельным человеком, идущим к Богу своим путем:

К тебе, о Боже, вопию.

Державин, как и Княжнин, называет Бога отцом, говорит об индивидуальном постижении Бога. Однако такие отношения между Богом и человеком, такое место человека во Вселенной типично для всех людей вообще ввиду существующего устройства мира:

Я связь миров, повсюду сущих.  
Я крайня степень вещества.

Существуют в стихотворениях и некоторые общие логические ходы. Будучи в состоянии одического восторга перед величием Бога, увлекаясь течением мысли, авторы ловят себя на неточности, и, опровергая себя, получают возможность развить идею в ином направлении. Такое построение текста позволяет придать произведению пафос и в то же время уподобить его живой доверительной беседе.

Имущего Тебя предметом,  
Меня к своим рабам причисль.  
К рабам?.. Рабов Ты не имеешь...  
*Княжнин*

...а я перед Тобой ничто.  
Ничто, – но Ты во мне сияешь...  
*Державин*

Опровергая уничижительные автохарактеристики, оба поэта получают возможность говорить о величии Бога: Княжнин – нравственном, Державин – космическом. Поэтому опровержение неллицеприятного определения положения человека перед Богом начинает новую строфу как в стансах, так и в оде.

Необходимо заметить, что в “Стансах Богу” Княжнин последовательно доказывает мысль о нравственном величии Бога и о безнравственности людей, о невозможности не восторгаться Творцом и его делами. Державин же не столько доказывает мысль, сколько рассуждает.

И в то же время в стихотворениях находим примеры буквального текстологического сходства. Стансы Княжнина начинаются со слов:

Источник жизни, благ податель,  
К Тебе, о Боже, волию.  
И пред Тобою, мой Создатель,  
Мою всю душу пролию.

Державин в конце оды пишет:

Твое создание я, Создатель,  
Твоей премудрости я тварь,  
Источник жизни, благ податель,  
Душа души моей и царь.

Оборот *душа души моей* продиктован правилами христианского этикета и является общим местом в стихотворениях духовного содержания. Но выбирая в одинаковой по содержанию строфе общее наиме-

нование Бога *Создатель* и используя идентичную однородную конструкцию *источник жизни, благ податель*, оба поэта демонстрируют ориентацию одного стихотворения на другое.

Одинаково звучат и такие строфы:

Ты был, Ты есть, Ты вечно будешь,  
То небо и земля твердят...

*Княжнин*

Создавший все единым словом,  
В твореньи простираясь новым,  
Ты был, Ты есть, Ты будешь век.

*Державин*

Оба поэта аргументом в пользу существования Бога считают факт бытия поэта. Говоря о себе, оба автора используют архаичную форму глагола *быть* – *быти*, что позволяет придать большую торжественность стиху. Употребление этой формы должно подчеркнуть величие Творца и человека как его творения:

Я есмь, меня не позабудешь,  
Мои все чувства то гласят.

*Княжнин*

Тебя душа моя быть чаёт,  
Вникает, мыслит, рассуждает,  
Я есмь, конечно есть и Ты.

*Державин*

Оба стихотворения отличаются торжественной приподнятостью стиха, которую требует их тема. В произведении Державина появление комплиментарности определяется самим жанром. Ода предполагает торжественность стиха, за ней традиционно закреплен панегирический ореол. Но если в стихотворении Державина жанр указывает на возвышенность темы, то между содержанием стихотворения и его жанром у Княжнина нет никакой видимой связи. Казалось бы, стансы диаметрально противоположны оде. Однако пафос произведений Державина и Княжнина одинаков, Княжнин придает своему стихотворению одическую направленность, делая стансы принадлежностью панегирической поэзии.

Оба стихотворения имеют много точек соприкосновения на разных уровнях. Конечно, неправильным было бы утверждение, что одно стихотворение зависит от другого, но об известном влиянии говорить можно.

В “Объяснениях” Державин пишет о богодуховенности своей оды, что исключает влияние на нее других произведений. Однако известно, что Державин опирался и на Поупа, и на Тредиаковского.

“Стансы Богу” Княжнина увидели свет в “Санкт-Петербургском вестнике” в июне 1780 года. Державин же пишет, что он был осенен

мыслью написать оду “Бог” в церкви на Пасху того же 1780 года. Из церкви Державин отправился домой и написал первые строки своего бессмертного стихотворения. Пасха 1780 года, естественно, приходилась на весну, стихотворение Княжнина вышло летом, через какое-то время после того, как Державин начал свою оду. За те четыре года, что писалось стихотворение Державина, “Стансы Богу” не могли не попасть в поле зрения одописца. Это подтверждают и соответствия, обнаруженные в текстах стихотворений. По всей видимости, первые строки оды были написаны на одном дыхании, а далее работа над стихотворением растянулась на годы, и текст подвергся влиянию других произведений, среди которых свое место занимают и “Стансы Богу” Я.Б. Княжнина.

Сравнительный анализ “Стансов Богу” Я.Б. Княжнина и оды “Бог” Г.Р. Державина дает возможность сделать вывод, что оба произведения представляют собой попытку ответить на вопросы, поставленные эпохой. Стихотворения Княжнина и Державина – этап в развитии русской философской мысли, отражающий новый уровень взаимоотношений человека и Бога. И в то же время многочисленные текстологические соответствия в обоих стихотворениях и их хронологическая соотнесенность позволяют говорить об определенном влиянии “Стансов Богу” Княжнина на оду Державина “Бог”.



## БЫТ И РЕЧЬ УШЕДШЕЙ МОСКВЫ

*В. С. ЕЛИСТРАТОВ,*

*кандидат филологических наук*

Старая Москва — это прекрасный и неповторимый мир, который, к сожалению, мы до сих пор недостаточно хорошо знаем. О старомосковском языке и фольклоре написано много, но можно сказать с полной уверенностью: одной, общепризнанной, большой, “классической” книги на эту тему нет. Однако в нашем распоряжении имеется множество источников, подчас самых неожиданных, в которых конденсирован невероятно богатый материал.

Итак, об источниках. Существует интенсивно развивающаяся наука — москвоведение, т.е. наука о Москве, ее языке, истории и быте. Москвоведение XIX—XX веков знает несколько сотен имен людей, оставивших нам бесценную информацию<sup>1</sup>. Москвоведение представляет собой отчасти уникальное явление. Если бы мы захотели найти ему какой-нибудь культурно-исторический аналог в прошлом, то таким аналогом могло бы стать разве что древнерусское

летописание. Взгляд москвоведов всегда “благочестив и смиренен”, любовь их к родному Вечному Граду подобна любви летописцев к своему отечеству. Москвоведы, как правило, обстоятельны и неторопливы, люди они “серьезные”, но на мелочи зорки и на слово остры.

У москвоведения нет “единожанрия”. Это многоликий и пестрый корпус текстов: мемуары, очерки, исторические этюды и, что важно, — художественные тексты<sup>2</sup>. Пожалуй, главное чувство, которое охватывает человека, взявшегося за “сбор и обработку” информации о московском языке, — чувство неожиданных открытий. Наиболее интересное возникает в самых непредсказуемых местах. Например, читая воспоминания о С. Есенине<sup>3</sup>, обнаруживаешь любопытный лингво-исторический факт: С. Есенин был, помимо всего прочего, автором массы крылатых слов и выражений, “гулявших” по Москве в 20-х годах. Это были и богемные жаргонизмы (например, К. Бальмонт в обиходно-окололитературное сознание Москвы вошел не иначе как *мраморная муха*, так переокрестил его С. Есенин), и народно-фольклорные словечки. Скажем, с легкой руки С. Есенина ЧК стала в народе на “питейный фасон” именоваться *чекушкой*. Есенинские “москвизмы” ходили по столице и по всей России более десятилетия, и не исключено, что многие из употребляющихся и сейчас в народе слов и выражений первоначально принадлежали поэту. С точки зрения лингвистического москвоведения, С. Есенин — это как бы А.С. Грибоедов первой половины 20-х годов XX века.

Мы видим, что у москвоведения нет ограниченного круга источников, объем литературы огромен, неисчерпаем. Как же ориентироваться в этом океане информации?

В. Гиляровский не случайно назвал свою знаменитую книгу “Москва и москвичи”. Москва — это, в первую очередь, москвичи, легендарные люди, яркие личности, а также места, топонимы, с которыми связана жизнь этих людей. Вокруг них, как вокруг магнитов, собирается московский фольклор и словарь.

Изучение московского фольклора опять же таит массу неожиданных и приятных открытий в сфере словесности. Приведем пример.

Пожалуй, самый популярный легендарный персонаж старой Москвы — это Брюс. Как известно, Яков Брюс (1670—1735) — историческая личность. Шотландец по происхождению, он был сподвижником Петра I, организовывал в России типографское дело, издавал так называемый “Брюсовский календарь”, содержавший астрологические прогнозы и ставший объектом более позднего массового подражания. После смерти Петра Брюс поселился в усадьбе Глинки (близ Монино) и там, по всеобщему убеждению, стал заниматься магией, алхимией и чернокнижием. С именем Брюса связаны также Сухарева башня, где ранее размещалась Навигационная школа с обсерваторией, и Немецкая слобода с примыкающими к ней Басманной, Гороховым полем,

Красным селом, Разгуляем, Лефортовым. Все эти районы еще с начала XIX века буквально “пропитаны” легендами о Брюсе. Автору данной статьи довелось несколько лет жить напротив “Немецкого” (Введенского) кладбища (на Госпитальном валу), и он (автор статьи) может свидетельствовать, что дух таинственного шотландца “витает” в тех местах до сих пор. Москвичи (по крайней мере, старшее поколение) до сих пор пересказывают темные истории о Брюсе.

Легенд о нем множество. Мы не будем их вспоминать, а отошлем читателя к замечательной книге Е. Баранова “Московские легенды”. Нас будет интересовать только одна история, история о том, как Брюс из старика сделал молодого. Е. Баранов пересказывает ее устами некоего маляра Василия. Заметим, что бытописателем зафиксирована живая старомосковская речь. Запись документирована: чайная “Низок” на Арбатской площади, март 1923 г. Василий рассказал нам следующее:

“А вот как он (Брюс. — *В.Е.*) из старого человека молодого сделал — это, действительно, чудо из чудес... Работал — работал, и добился-таки — выдумал эти составы. Сперва-наперво он над собакой сделал испытание: разыскал старую-престарую собаку, да худющую такую — кости да кожа. Притащил он этого пса в подземелье, изрубил на куски, потом перемыл в трех водах. После этого посыпал куски порошком и снова онирослись как следует, по-настоящему. Вот он полил на ту собаку из пузырька каким-то составом, и сейчас из нее получился кобелек месяцев шести. Вскочил на ноги, хвостом замахал и давай вокруг Брюса бесноваться. Известно, малыш: ему бы только поиграться. Тут Брюс обрадовался:

— Наше дело на мази! — говорит. — Теперь всех стариков сделаю молодыми, пусть живут.

А этот кобелек так и остался при нем; как вечер, сейчас взберется наверх и поднимает брех: тьяв-тяв... тьяв-тяв...

А народ, который мимо идет, поскорее бежать: думает, что это Брюс собакой обернулся и свою башню сторожит. Понятно, не знали, в чем тут дело.

Вот приходит к нему царь Петр и говорит:

— Где ты достал такого славного кобелька?

А Брюс говорит:

— Это я из старой собаки переделал.

— Как так? — спрашивает царь.

Брюс все рассказал ему, а царь не верит.

— Ну, хорошо, — говорит Брюс, — приведи ко мне самого старого старика; я из него сделаю молодого парня.

Вот царь сделал распоряжение.

Отыскивали такого старючего деда, что он и лета свои позабыл считать и ходить не может, не слышит ничего. В носилках притащили его в башню, спустили в подземелье. Вот как царская прислуга ушла, Брюс

изрубил в куски старика, перемыл в трех водах, посыпал порошком. Вот видит царь: ползут эти куски один к другому, срastaются. И видит, лежит целый дед... Тут Брюс полил из пузырька, а вместо этого деда поднимается молодой парень. Встал, стоит и смотрит. Тут Петр очень удивился и думает: “Наяву ли я или во сне?” Потом приказывает выгнать этого парня. Брюс и выпроводил его, ну, может, дал ему рублишко-другой... Потом направил на него кобелька. Как принялся кобелек за икры хватать, так этот парень, точно полоумный, бросился бежать.

После этого Петр и говорит:

— А ты брось свою затею, чтобы из стариков делать молодых.

— А почему бросить? — спрашивает Брюс.

— По этому, по самому, — говорит Петр, — что из этого кроме греха ничего не выйдет. Ведь если переделать стариков на молодых, тогда и смерти не будет человеку. И как, говорит, тогда жить? Ведь ежели теперь люди грызутся, то тогда, говорит, за каждый вершок земли станут резаться. А с человека довольно и той жизни, какая ему определена. Ты, — говорит, — уничтожь эти порошки и составы и больше не занимайся этаким делом.

Брюс послушался, уничтожил” (Баранов Е.З. Московские легенды. М., 1993).

Не надо обладать особенной прозорливостью, чтобы сквозь общие контуры московской легенды разглядеть сюжет булгаковского “Собачьего сердца”: эксперименты по омолаживанию, операция над собакой и т.д. А главное — чисто “экологическая” мораль: насилие над жизнью, над естественными законами ее развития обречено на провал. М. Булгаков (кстати, один из лучших москвоведов своего времени<sup>4</sup>) не прямо заимствует сюжет, а причудливо меняет местами его составляющие. Вполне возможно, что писатель и не слышал легенды в том виде, в каком ее приводит Е. Баранов. Но это и не важно. Любая из модификаций легенды, любой из ее рефлексов, будь то городской слух или анекдот, все это — плодотворнейшая среда для формирования сюжета. Так были созданы “Фауст” Гете и “Ромео и Джульетта” Шекспира. Так называемый “бродячий сюжет” неумолимо стремится войти в литературу.

Итак, фольклорно-литературная линия Брюс — Булгаков существует. И таких линий, исходя из знания московского фольклора, может быть намечено немало. Опять же — весьма неожиданных. Например, станет еще более понятно пристрастие Д. Хармса (правда, петербуржца, что не очень существенно) и его подражателей к анекдотно-пародийной пушкиниане, если ознакомиться с московскими легендами о Пушкине (Хармс Д. Горло бредит бритвою // Глагол. 1991. № 4; Баранов. Указ. соч.). В обоих циклах настойчиво повторяется, например, мотив пушкинских золотых часов (по легенде, у Пушкина были любимые часы, которые он потом символично передал Гоголю, как продол-

жателю своего литературного дела), мотив “непоседливости” Пушкина, “неверности” его жены и т.д. Возможно, прояснится и причина такого “настойчивого” участия имени Пушкина в городских ироничных присловиях и поговорках (типа: “Кто это делать будет?” — “Пушкин”): московские легенды говорят, например, о том, что именно Пушкин первым замостил грязные московские улицы, отремонтировал дома и даже, по одной из версий, ввел фонарное освещение.

Совершенно очевидно, что знакомство с московским фольклором, концентрирующимся вокруг легендарных личностей, топонимов, обогащает наши знания о русской художественной словесности и о нашем разговорном языке, в частности об идиоматике.

С уровня “большого” московского фольклора (легенды, сказания, серии анекдотов и проч.) перейдем на уровень чисто языковых форм. Что важно отметить здесь?

Первое и, пожалуй, самое главное. Изучая старомосковскую речь, мы изучаем звучащую фактуру. В старой Москве все шумело, кричало, зазывало, бранилось, перекрикивалось, острословило и т.д. Поражает праздничная, балаганная, “карнавальная” атмосфера старомосковских текстов. Они всегда как бы объемны, вокальны. М.М. Бахтин в своем знаменитом исследовании о Франсуа Рабле, в частности, говоря о “криках Парижа” (их зафиксировано 107, но было в действительности значительно больше), отмечает: “Необходимо еще напомнить, что в ту эпоху (в XVI в. — В.Е.) не только вся без исключения реклама была устной и громкой, была “криком”, но и всякие вообще извещения, постановления, указы, законы и т.п. доводились до народа в устной и громкой форме. Роль звука, роль громкого слова в бытовой и культурной жизни эпохи была громадной, — она была несравненно большей, чем даже теперь — в эпоху радио. XIX же век по сравнению с эпохой Рабле был просто немым веком. ...Культура народного вульгарного языка была в значительной степени культурой громкого слова под открытым небом, на площадях и улицах” (Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990).

Старомосковские тексты никак не говорят о “немоте” XIX века. Наоборот, мы находим в них буквально тысячи “криков Москвы”, каталогизация которых могла бы стать интереснейшим делом. Москва шумела и кричала с утра до вечера. Например, ранним утром по Москве несся выкрик старьевщиков: “Берем!” Бытовал также другой вариант крика: “Халат-халат!” Несколько десятков типичных криков существовало у извозчиков (часто в зависимости от того, к какой категории принадлежал извозчик — к *ванькам*, *колясочникам*, *голубям со звоном*, *одноконным лихачам*, *троечникам*, *ломовым* и т.п.): “Берегись!”, “А вот прокачу”, “Поглядывай!”, “Балуй!”, “Эх, мышатки!” (*мышатками* кучера в шутку звали лошадей) и мн. др. Кондукторы кричали: “Айдите в вагон!” Свои специфические крики

были у продавцов сбитня, шашлычников, антиквариетов, парикмахеров, цирюльников, будочников, богомольцев-“кружечников” и т.д. Помимо фиксированных криков, которые являлись своеобразными этикетными формами, существовали и развернутые рекламные периоды, как правило, выполненные в жанре острословия, например, речь продавца колорадских жуков на вербном базаре: “Ка-аму жука?... Самые американские жуки!... Без ключа — без заводу, орловские по ходу! Барыня, дозвоьте жучка перекомендовать!... Самый-то брюнет, руку к сердцу прижимает!.. Барышня, барышня... даром отдам, только поглядите! В трубочке ходит-прыгает, ножкой дрыгает, семь годов картошку копал, на десятый в банку попал!...” (Шмелев И.С. Сочинения: в 2 т. М., 1989).

“Мед-лимонад газес, от него черт на крышу залез! Копейка большой стакан! Поспешите приобрести редкое питьецо — заморское варевцо!” — из выкриков продавца напитков (Иванов Е.П. Меткое московское слово. М., 1982).

“Американские баретки в двадцать четыре клетки. Как ни шагнешь, так двадцать одно. Как ни ступишь, так бубны козыри” — выкрик продавца лаптей (там же).

Много написано об отличии петербургского языка от московского. Помимо всего прочего, можно было бы выделить одну существенную характеристику старомосковской речи: она значительно экспрессивнее и громче звучала, чем петербургская. В Москве была (и, вероятно, остается) огромной роль интонации, тембровых характеристик, модуляций голоса. И кроме того — жеста, соматических средств. Здесь ярче краски, пронзительнее голоса, резче телодвижения, громче смех.

Московская речь не только очень эмоциональна, “площадна”, “средневеково-карнавальна” по духу. Она обладает еще одним качеством, о котором необходимо сказать: она чрезвычайно интернациональна по составу. Москва, по крайней мере, в лингвистическом плане была и остается совершенно евразийским городом. В старую Москву, как в Рим, вели многие дороги Евразии. В текстах бытописателей мы находим множество описаний евразийского фона московского быта: сладости (*рахат-лукум, шептала, муштала* и проч.) на московских базарах продавали таджики, персы, старые вещи собирали татары (они же, кстати, многие были каменотесами, отсюда ряд тюркских по происхождению терминов), башкиры везли в Москву свои яблоки, мордва — мед, несколько десятков духанов принадлежало кавказцам (“шашлычное дело” появилось в 70-х гг. XIX в.), Зарядье коренные москвичи исконно считали еврейским местом, здесь (в Глебовом подворье) жили еврейские купцы и скорняки-“шмукоделы”, перекраивавшие меховые изделия, Грузинка первоначально была полностью цыганским районом, районом таборов и костров и т.д. и т.п. Все эти народы оставили свой яркий след в московском языке. Не говоря уже о всей палитре диалектов и наречий русскоязычной России, которую буквально как губка

впитала в себя Москва, и о немецком, французском, английском и др. западноевропейских потоках в старомосковском языке и быту.

Старая Москва — удивительный образец в высшей степени демократического, а если угодно — соборного евразийства. Крылатое пушкинское “все флаги в гости будут к нам” парадоксальным образом в значительно большей мере относится к Москве, чем к Петербургу. И самое веское доказательство тому — не столько учебники по истории, сколько старомосковская речь, настоящее зеркало нашей богатой и прекрасной истории.

В нашей небольшой работе мы коснулись лишь двух аспектов изучения старомосковского языка, аспектов, на которые, как нам кажется, до сих пор обращается недостаточно внимания, и которые, между тем, имеют не только чисто языковедческое, но и общекультурное, общесоциальное значение. Во-первых, народная (ремесленная, купеческая, разночинская и др.) культура Москвы является подчас одним из невидимых, но прочных и надежных оснований “большой” словесности и культуры. Во-вторых, она же, эта “площадно-плебейская” культура с ее просторечием — не сырой первобытный материал, из которого когда-то потом будут созданы какие-то “высокие” и “благородные”, “литературные” образцы. Старомосковский простонародный язык сам по себе может нас многому научить. Это громкое, сильное, молодое свежерусско-евразийское многоголосие, эта национально-интернациональная полифония, полная жизни и энергии, может стать для нас источником сил и надежды в наше сложное время, время разобщения, вражды, одиночества и уныния.

#### Примечания

1. См. например: *Баранов Е.З.* Московские легенды. М., 1993; *Белоусов И.А.* Ушедшая Москва. М., 1927; *Бурышкин П.А.* Москва купеческая. М., 1990; *Вистенгоф П.Ф.* Очерки московской жизни. М., 1842; *Гершензон М.О.* Грибоедовская Москва; *Пя Чаадаев.* Очерки прошлого. М., 1989; *Гиляровский В.А.* Сочинения. В 4 т. М., 1984; *Давыдов Н.В.* Из прошлого. М., 1913—1917; *Забелин И.Е.* История города Москвы. М., 1990; *Загоскин М.П.* Москва и москвичи. М., 1988; *Иванов Е.П.* Меткое московское слово. М., 1982; *Кокорев И.Т.* Москва сороковых годов: Очерки и повести о Москве XIX в. М., 1959; *Малиновский А.Ф.* Обзорение Москвы. М., 1992; Московская старина: Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989; *Покровский Д.А.* Очерки Москвы // Ист. вестник СПб., 1893—1894; По Москве. М., 1991; *Попова Е.И.* Из московской жизни сороковых годов. СПб., 1911; *Пыляев М.И.* Старая Москва. М., 1990; *Скавронский Н.* Очерки Москвы. М., 1993; *Слонов И.А.* Из жизни торговой Москвы. М., 1914; *Собалев В.Н.* О петушиных боях в Москве. М., 1879; *Сытин П.В.* Из истории московских улиц. М., 1958; *Телешов Н.Д.* Записки писателя: Воспоминания и рассказы о прошлом. М., 1980; *Чернышев В.И.* Диалект города Москвы и русский литературный язык. Избр. труды. М., 1970. Т. 2 и мн. др.

2. Крупнейшим “художественным” москвоведом, разумеется, был и остается А.Н. Островский. Словарь драматурга — неотъемлемая часть старомосковского словаря (см.: *Ашукин Н.С., Ожегов С.И., Филиппов В.А.* Словарь к пьесам А.Н. Островского. М., 1993). Кроме того, любой писатель-москвич, хотел он того или нет, отражал в своих текстах специфику московского языка. Очень богаты на московскую лексику и фразеологию произведения *М.А. Осоргина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.И. Эртеля, А. Су-*

хово-Кобылина, И.А. Бунина и многих других. “Масштаб” писателя (Толстой и Эртель!) здесь не столько важен, перед Москвой, как перед Богом, все равны. Но есть писатели, каждая страница которых — просто кладезь для исследователя старомосковской речи. Среди них, к примеру, П.Д. Боборыкин с его “Китай-Городом”, тот самый плодовитейший “Пьер Бобо”, как его звали в Москве. Или — И.С. Шмелев, в чьем одном только “Лете Господнем” по нашим подсчетам, несколько тысяч специфически московских слов и выражений. Есть и такие писатели, которые одновременно и одаривают вас прямо-таки фейерверком старомосковской лексики и самым бесцеремонным образом вас мистифицируют. Например, Андрей Белый (см. *Белый А.* Москва. М., 1989). Свои слова (индивидуальные неологизмы) он выдает как бы за общемосковские, а общемосковские — за свои. “Лингвистическое лукавство” А. Белого — одна из существенных сложностей для исследователя.

3. См. например: *Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова.* М., 1990; С.А. Есенин: Материалы к биографии. М., 1992 и др.

4. Автор статьи в одной из работ уже касался, в частности, проблемы соотношения стиля М. Булгакова и городской смеховой культуры. См.: Елистратов В.С. О языке Булгакова и стилистических поисках русской литературы XX века // *Русский язык за рубежом.* 1994. № 4.



## ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ\*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,

доктор филологических наук

**Каши́ра** (1356). Город в Московской области. Название получил по реке Каширке (Кошире), на берегу которой был первоначально основан как крепость, контролирующая броды через Оку. В 1571 году она была разрушена во время набега крымскими татарами и в 1620 перенесена на правый берег Оки. На прежнем месте сформировалось село Старая Кашира. См. *Каширка*.

каширяне, каширянин

каши́рцы, каші́рец

каши́рский, -ая, -ое

*Понес черт однодворцев на базар да решето и опрокинул над Каширой.* Имеется в виду то обстоятельство, что в Кашире и ее округе было много крестьян-однодворцев, т.е. государственных крестьян в Российской империи, бывших служилых людей.

**Каші́рка (Каші́ра, Коші́ра).** Река, левый приток Оки. Существует несколько предположений о происхождении и значении этого топонима. В.А. Никонов считал, что в основе его лежит южнорусское диалектное *кошира* “загон для скота” из тюркского *кошара*, и отвергает предположение о связи его с хантыйским *кос* “ель” (Никонов. Краткий топонимический словарь). Е.М. Поспелов склонен видеть в нем формант *ир*, объединяющий этот гидроним с названиями на -ур, -ар или -ра (*Дардур, Нинур, Санчур, Шатура, Ламар, Пахра, Сукра* и др.). Он учи-

\* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4—6; 1995. №№ 1—6; 1996. № 1.

тывает замечание В.Н. Татищева о том, что у античных авторов Волга носила название *Ра*, и предполагает, не является ли *ра* по происхождению каким-то древним гидрографическим термином, дошедшим до нас в виде *ур*, *ар* (Поспелов. Топонимика Московской области). Известны предположения о балтийском характере этого гидронима, основанного на соотношении: *Каширка* и прусского *Kosarikayme*, латышского *Kāšāre*, литовского *Košm* и др. (Топоров. «Baltica» Подмосковья).

**Кемля.** Русский рабочий поселок в Мордовской республике. Селение известно уже в 1671 году. В XVIII веке называлось *Кемля*, *Никольское тож*. Первое название по реке Кемля (совр. Кемлятка), на которой было основано село. Гидроним объясняют из мордовского *кельме латко* “холодный овраг, овраг со студеным ручьем” (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР). Второе название по храму святого Николая.

**Керамсурка.** Русское село в Мордовской республике, известное с 1631 года. И.К. Инжеватов с определенной долей сомнения соотносит его с мордовскими *керямс* “рубить” и *сюрко* “вырубка” (Инжеватов. Указ. соч.), т.е. селение, возникшее на вырубке, на месте вырубленного леса. Такой принцип номинации характерен для топонимии Центральной России, где в древности существовало подсечно-огневое земледелие.

керамсурцы, керамсурец  
керамсурский, -ая, -ое

**Керва.** Поселок в Московской области. Название можно вывести из финно-угорских языков. Поселок находится в Мещере, где финноязычный элемент в топонимии весьма велик. В основе *кер-* можно видеть *кер* “рубить, вырубать лес”, известное в мордовских и в коми языках (Лыткин В.И., Гуляев Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970), а также *ва* “река, вода”. В этом случае топоним *Керва* “лесная вырубка, расчищенное место в лесу у реки”. Такой принцип номинации в топонимии Европейской части России широко известен, так как в древности здесь было развито подсечно-огневое земледелие. В бассейне нижнего течения Оки известна была река Кера и одноименное сельцо на этой речке (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки).

кёрвинцы, кёрвинец  
кёрвинский, -ая, -ое

**Керженец.** Рабочий поселок в Нижегородской области. В этом названии можно видеть мордовское *кержи* “левый”, оформившееся как гидроним по правилам русского словообразования. Есть и другое предположение — от мариийского *корж* “серьга”, т.к. река имеет прихотливое русло, делает крутые повороты, напоминающая серьгу. Более вероятно первое предположение, хотя бы потому, что река Керженец, на которой стоит поселок, — это левый проток Волги. Вероятно, такого же происхождения реки Киржач и Керша.

кёрженцы, кёрженец, кёрженка; *устар.* кержакй, кержак, кержачка кёрженский и кержёнский, *-ая, -ое* и кержёнцкий, *-ая, -ое*

**Кёрша, Кёрша.** Река, правый приток Цны (бассейн Мокши). Как считают исследователи, в основе гидронима, вероятно, мордовский (эргзя) апеллятив *керш* (*керч, кержий*) “левый”. Тот факт, что река Керша является не левым, а правым притоком Цны, нельзя считать противоречащим этому предположению. Он может быть объяснен характером ориентации на местности или направлением движения против течения реки того, кто дал ей название. При всем этом нельзя не учитывать мнение Б.А. Серебренникова о том, что этот гидроним мог относиться к названиям языков волго-окских племен, предшествовавших в этом регионе финно-угорским, и элемент *-ша* (наряду с *-га, -ма, -та, -са, -ва*) имел значение “река” в языке неизвестной народности, слившейся впоследствии с мордвой, мещерой (Серебренников Б.А. Волго-окская топонимика на территории Европейской части СССР // Вопросы языкознания. 1955. № 6).

кёршинский, *-ая, -ое* и кёршинский, *-ая, -ое*

**Кидекша.** Село во Владимирской области. Название дано по реке Кидекша. Окончательно происхождение и значение его не установлено. По наличию элемента *-ша* исследователи относят его к одному из ранних финно-угорских языков или диалектов, известных в междуречье Оки—Клязьмы и датируют его II—I тыс. до н.э. (Седов В.В. Гидронимические пласты и археологические культуры Центра // Топонимия Центральной России. Вопросы географии. № 94. М., 1974). А.И. Попов находит основание считать начальное *ки-* мерянским в значении “камень” (Попов А.И. Топонимика древних мерянских и муромских областей // Географическая среда и географические названия. Л., 1974). Элемент *-киша* принято считать словом неизвестного финно-угорского языка со значением “вода”, “река”. Из этого следует, что гидроним Кидекша можно перевести как Каменная река, Каменка. Пoblзости в настоящее время есть река Каменка. Названия небольших рек на *-киша, -кса* и их варианты довольно часты в данном регионе: реки *Колокша* (*Колакша*), *Инокша, Молокша* (*Молокча, Молохча, Молохта, Мологча, Молочка*) и др.

кйдекшйинский, *-ая, -ое*

**Кидусово.** Село в Рязанской области. Более ранняя форма топонима *Кидусаль* (XVI), видимо данное по водному объекту, превратившемуся ко времени его фиксации в болото Кидусальское (Кидосольское). Название соотносится с одной из археологических культур (I тыс. до н.э. — перв. пол. I тыс. н.э.) и, вероятно, принадлежит к одному из финно-угорских языков или диалектов, существовавших в то время в междуречье рязанской Мещеры, где находится Кидусово. Исследователи считают, что *ки-* могло иметь значение “камень”, а *-ль* — вариант мордовского *-ляй, -лей* “река” (Попов. Указ. соч.). Ср. в Поочье реки Нудоль. Салоль, Уходоль и др. Элемент *-ус(-ос)*, довольно частый в гидронимам

данного региона, соотносится с археологической культурой муромы, в языке которой он мог иметь значение “вода, река”: озеро Чарус и болото Чарусское, болото Уколос, озеро Тынус и др. Вероятно, форма современного названия болота складывалась таким образом: *Ки(д)+ус* — *Каменная река* (возможно, болото), позже к этому был прибавлен элемент другого языка (или диалекта) *-ль (-ллий)*, получилось *Каменная Река* — *Кидусаль (Кидусоль)*, которое позже оформилось по правилам русского словообразования — *Кидусальское*.

кйдусовцы, кйдусовец, кйдусовка

кйдусовский, *-ая, -ое*

**Кймовск** (1952). Город в Тульской области. В основе названия аббревиатура *КИМ* — Коммунистический Интернационал Молодежи, оформленная по правилам русского словообразования (суф. *-ов, -ск*).

кймовцы, кймовец, кймовка

кймовский, *-ая, -ое*

**Кймы** (1917). Город в Тверской области. Возможно, название связано с литовским *кутзунэ* “болото, где много гнилых пней”. В тверских источниках XV—XVII веков известна однокоренная фамилия.

кимрякй, кимряк, кимрячка и *устар.* кимряне, кимрянин, кимрянка

кимрский, *-ая, -ое*

кймовский, *-ая, -ое*

Шутливый диалог:

— *Кимряк, где остановился?* (по приезде в Москву)

— *На Болоте* (местность на противоположном от Кремля берегу Москвы-реки). Возможно, в этой шутке содержится косвенное подтверждение происхождения топонима *Кимры* “болото” (где много пней).

*Кимряки — сычужники.* Речь идет о том, что жители Кимр любили своеобразное блюдо — свиной сычуг (один из желудков свиньи), начиненный кашей.

*Кимряки летом штукатуры, а зимой чеботари.* Речь идет об отхожих промыслах кимряков: летом штукатуруют помещения, а зимой изготавливают обувь.

**Кйнешма** (1777). Город в Ивановской области на Волге. В памятниках письменности упоминается с начала XIV века. Название дано по реке Кйнешме (совр. Кйнешемка), поблизости от которой город был основан как крепость на правом берегу Волги. Для исследователей это название загадочно в силу своей древности, как и весь тип гидронимов на *-ешма, -ешма, -езьма (-язьма), -есьма*, соотносящихся с льяловской археологической культурой (IV—III тыс. до н.э.) в центре Восточной Европы (Седов. Указ. соч.). В.А. Никонов отвергал попытку Б.А. Серебренникова связать этот гидроним с индоевропейским материалом, т.к. в нем, по мнению Никонова, смешиваются гидронимы на *-ма* разного происхождения.

В Кйнешме происходят действия многих пьес А.Н. Островского.

кйнешемцы, кйнешемец, кйнешемка  
кйнешемский, -ая, -ое

*Кйнешемцы да решемцы — суконники.* Это значит, что жители Кйнешмы и Решмы (соседнего села) занимались изготовлением сукна.

*Кйнешма да Решма кутит да мутит, а Сологда убытки платит.* Речь идет о том, что село Сологда находилось между Кйнешмой и Решмой, которые в старину часто ссорились между собой.

**Киреевск** (1956). Город в Тульской области. В основе названия фамилия *Киреев*, образованная от личного мужского имени *Кирей*. Имя и фамилия были известны в Русском государстве уже в XVI веке (Веселовский. Ономастикон).

киреевцы, киреевец, киреевка  
киреевский, -ая, -ое

**Киржач** (1778). Город во Владимирской области. Впервые это название встречается в духовной грамоте великого московского князя Ивана Калиты (1328). Селение возникло как слобода при Благовещенском монастыре, упраздненном Екатериной II. Город назван по реке Киржач, левому притоку Клязьмы. Другая форма гидронима Кержач, на основании которой его можно соотнести с мордовским *кержи* (*кери, керч*) “левый”. Суффикс *-ач* довольно продуктивен в финноязычной топонимии центральной части России. А.И. Попов склонен видеть в гидрониме древний топоформант *-ша* (Попов. Указ. соч.).

киржачцы; киржачане, киржачанин; киржакй, киржак, киржачка  
*устар.* кержакй, кержак, кержачка  
киржачский, -ая, -ое и киржачкий, -ая, -ое

**Кириши** (1965). Город в Ленинградской области. Впервые упоминается в 1693 году как название села, на месте которого в наше время вырос город. Вероятно, в основе топонима местная форма — *Кириши* от мужского личного имени *Кир* > *Кирилл*. *Кириши* — селение семьи Кириша. Имя *Кир* известно в источниках XVI века: Кир Иван — холоп, 1595 г., Новгород (Веселовский. Указ. соч.).

киришане, киришанец и киришцы, киришеч  
киришский, -ая, -ое

**Киров** (1936). Город в Калужской области. Название дано в память о государственном и партийном деятеле С.М. Кирове (1886—1934), ставшем жертвой злодейского террористического акта. Топонимы в память о Кирове неоднократно повторяются на всей территории России: *Киров, Кировград, Кирово-Чепецк, Кировск* и др.

кировцы, киروهец, кировка  
кировский, -ая, -ое

**Кировск** (1953). Город в Ленинградской обл. Название дано в память о С.М. Кирове, государственном и партийном деятеле (1886—1934), по инициативе которого здесь началось возведение 8-й ГЭС — важной тепловой станции, построенной в годы первой пятилетки (Кисловский. Знаете ли вы?).

кировцы, кировец, кировка  
кировский, -ая, -ое

**Кирсанов** (1779). Город в Тамбовской области. Как сообщают исследователи, в основе топонима личное мужское имя *Кирсан* — русифицированная форма имени *Хрисанф*. Оно принадлежало Хрисанфу Зубакину, основавшему здесь селение во второй половине XVIII века (Никонов. Указ. соч.). Форма имени *Кирсан*, видимо, была известна значительно раньше, поскольку уже в XVI веке фиксируется фамилия, образованная от нее: Кирсанов Меньшик, крестьянин, 1595 г., Арзамас (Веселовский, Указ. соч.).

**Киструс**. Село в Рязанской области (совр. Старый Киструс). Название дано по реке Киструс (Кистрос). Гидроним очень древний и, вероятно, может быть отнесен к одному из финно-угорских языков или диалектов, известных в свое время в рязанской Мещере. Условно он может быть объяснен так: *Ки* “камень” (Попов. Указ. соч.) и *-ус* “вода, река”, *-стр-* широко известный гидронимический элемент; *Киструс* — Каменная река, Каменка. Ареал гидронимии на *-ус* в данном регионе совпадает с ареалом археологической культуры муромы, известной по соседству с Киструс: *Тынус*, *Чарус*, *Лукмос/Лукмас*, *Пымлос* и др. (Смолицкая. Указ. соч.).

кйструсовцы, кйструсовец  
кйструсский, -ая, -ое и кйструсовский, -ая, -ое  
ста́рокиструсский, -ая, -ое

**Климовск** (1940). Город в Московской области. Название дано по деревне Климовка, на месте которой он возник как поселок при заводе ткацких станков. В основе названия *Климовка* лежит антропоним *Клим* или *Климов*. Личное мужское имя *Клим* было известно у русских и в форме *Климиша* — от нее фамилия *Климишин*, *Климишины* — торговые люди в Москве и *Клиша* — от нее фамилии (прзвища) *Клиша*, *Клишко*, *Клишков* (Веселовский. Указ. соч.).

климовча́не, климовча́нин и кли́мовцы  
кли́мовский, -ая, -ое

**Клин** (1317). Город в Московской области, один из древних русских городов, известный как селение в источниках с 1234 года. В основе названия несомненно русское диалектное *клин* “участок леса, луга, пашни в виде клина”, “островной лес по берегу реки” и др. Эта версия подерживается и тем обстоятельством, что город расположен на своеобразном полуострове, образованном изгибом русла реки Сестры, он как бы клином вдается в русло реки. Вслед за В.А. Никоновым, надо признать несостоятельным соотнесение этого топонима с личным мужским именем *Клин* (Никонов. Указ. соч.), которое не зафиксировано в русских источниках до XIV века и впоследствии, в то время как топоним и микротопонимы *Клин* и производные довольно часто встречаются на территории центральных областей России: города — *Клин* (Нижегородская обл.), *Клинцы* (Брянская), луг *Клин* (Рязанская) и др.

— Город Клин тесно связан с жизнью и творчеством П.И. Чайковского. Здесь находится музей этого выдающегося русского композитора.

клинча́не, клинча́нин, клинча́нка и клиня́не, клиня́нин,

*устар.* кля́новцы, кля́новец

кля́нский, *-ая, -ое*

**Кляновцы** — *лапотники*. Имеется в виду то обстоятельство, что основной вид обуви у них — лапти, плетеная короткая (на лапу — ступню) обувь из лыка, коры деревьев и т.п.

**Кли́нцы** (1925). Город в Брянской области. В основе названия апелляция *клинца* (мн. *клинцы*) “небольшой клн — участок земли или леса в виде клина”, “вклинившаяся часть пашни, луга в лес”. Вероятно, селение возникло на подобном участке пашни, луга или леса. Топоним известен на всей восточнославянской территории, а также у южных и западных славян, где допускается их происхождение от личного мужского имени *Клин* (Никонов. Указ. соч.).

клинцо́вцы, *-ец* и клинча́не, клинча́нин, клинча́нка

клинцо́вский, *-ая, -ое*

**Кля́пинцы**. Деревня в Ленинградской области. Известна с XVII века, когда принадлежала Клопскому Троице-Михайловскому монастырю. В основе названия, видимо, русское диалектное *клопец*, обозначающее разные растения-сорняки семейства злаковых крестоцветных и др. (СРНГ. Вып. 13). Это слово в значении “растение-деженик полевой” известно в памятниках русского языка XVII века (СлРяз. XI—XVII вв.). Известно в составе топонимов. Ср. *Клоново* в Московской области.

кля́пинцы, кля́пинец

кля́пицкий, *-ая, -ое*

**Ключи́, Ключ, Ключи́щи, Ключе́вск**. Названия многих поселков, сел и городов в Центральной России. В основе названия слово *ключ* “родник, водный источник, ручей”. В.А. Никонов установил границу распространения двух синонимов *ручей* и *ключ*. Она совпадает с границей земель, принадлежавших в XIV—XV веках Великому Новгороду и Московскому государству (Никонов. Указ. соч.).

клячѣвцы, клячѣвец

ключевско́й, *-ая, -ое* и клячѣвский, *-ая, -ое*

**Кля́зьма**. Река, левый приток Оки. Происхождение названия не известно. Есть основания относить его к древнейшему типу гидронимов на *-ежма, -езьма, -еи́ма, -есьма*, ареал которых совпадает с ареалом неолитической льяловской культуры. Предположительно она восходит к мезолитической культуре Центра и датируется IV—III тысячелетием до н.э. (Седов. Указ. соч.). В бассейне Оки известны: поселки *Клязьма, Клязьминское водохранилище, озеро Клязьма, река Клязьма Старая* (старое течение Клязьмы). См. *Кинеи́ма*.

кля́зьминцы, кля́зьминец

кля́зьминский, *-ая, -ое*

**Кобона.** Рыбацкий поселок в Ленинградской области на берегу Ладожского озера. Название по реке Кобоне (совр. Кобонка), на берегу которой находится поселок. Исследователи склонны видеть в основе гидронима финское *haara* “осина”. Более реальным представляется объяснение через диалектное *коба* “кол, короткое бревно, вбитое в землю на берегу реки или озера для причаливания лодок, плотов” (СРНГ. Вып. 13). Слово отмечено Далем как новгородское (Даль. Т. II). Не исключена связь апеллятива *коба* с финским *haara*, но не самого названия поселка. Видимо, в определенной связи с гидронимом *Кобонка* находится название рыбы *кобонька*, зафиксированное в Таможенных книгах Тихвинского монастыря 1687 года (СлРяз. XI—XVII вв.).

кобонцы, кобонец  
кобонский, -ая, -ое

**Кóверти.** Озеро в Московской области (в Мещере). Есть основание видеть в нем видоизмененное название озера *Концьверти*, зафиксированное на карте Генерального межевания России XVIII века в тех же местах (Смолицкая. Указ. соч.). Вероятно, это было озеро с омутами и водоворотами, крутившими концы рыболовных снастей, веревок и т.п. Изменение формы названия могло стать результатом опски или орфографической ошибки. Ср. *Истодники из Истобники*.

**Ковров** (1778). Город во Владимирской области. Возник на месте деревни Елифановка, переименованной позже в село Рождественское. В XVII веке это вотчина суздальских князей Ковровых, получивших свою фамилию от предка по прозвищу *Ковер*. В XVII веке эта фамилия была довольно распространенной на Руси: Андрей Ковров — подьячий Стрелецкого приказа, Михаил Ковров — подьячий Приказа большого дворца (Веселовский. Дьяки и подьячие XV—XVII вв.).

ковровцы, ковровец и ковровчане, ковровчанин, ковровчанка  
ковровский, -ая, -ое

*Ковровцы — офени, коробейники, картавые.* Эти прозвища даны жителям Коврова потому, что среди них было много коробейников, офеней — торговцев мелким товаром, имевших свой тайный (профессиональный), не понятный окружающим (отсюда и *картавый*) язык.

**Ковылкино** (1960). Город в Мордовии. Название дано в 1919 году в честь члена коллегии Наркомата путей сообщения С.Т. Ковылкина, причем вначале это название получила железнодорожная станция *Арапово*, а позже и поселок, возникший при ней. Первоначально именованная села, на месте которого вырос город: *Лаиша* (по речке, на которой стояло село; в основе гидронима мордовское *лаиша* “низина; лощина, пологий овраг”); *Кашаево* (по фамилии крещеного татарского князя К.Н. Кашаева, которому в 1703 году были подарены окрестные земли); *Воскресенская Лаиша* (по каменному храму в честь Воскресения Христова и для отличия от соседних сел *Вольная Лаиша* и *Русская Лаиша*); *Арапово* (по фамилии владельца окрестных земель, его же

фамилией назвали железнодорожную станцию в 1893 году). Эти сведения приводит И.К. Инжеватов (Указ. соч.).

ковы́лкинцы, ковы́лкинец

ковы́лкинский, -ая, -ое

**Ковыляй.** Деревня в Мордовской республике. В основе названия сочетание двух мордовских слов: *кев* “каменистый” и *ляй* “речка, овраг”. Другое название деревни *Ковыляйско-Проказинский Выселок* свидетельствует о том, что эта деревня появилась как выселок из двух сел — *Ковыляй* (совр. Старый Ковыляй) и *Проказино* (совр. Рощино) в связи с отменой крепостного права в 1861 году (Инжеватов. Указ. соч.).

ковыля́йцы, ковыля́ец

ковыля́йский, -ая, -ое

*Продолжение следует*



**Ряжск  
или  
Ряск?**

*Е.С. ОТИН,  
доктор филологических наук*

Для охраны южных границ Русского государства в XVI–XVII веках была учреждена сторожевая станичная служба. Были построены засечные линии и укрепленные городки, которые населяли служилые

люди – стрельцы и казаки. Стрельцы несли в них “пешую”, а казаки “конную службу”. Уже в это время широкую известность получают селения, названия которых повторяют ранее существовавшие имена степных (“польских”) рек и ручьев, вблизи которых обосновывались “сторожи”: Воронеж, Лебедянь, Валуйки, Оскол, Елец и др. Одним из них был городок на юге Рязанской области, название которого на современной карте представлено в форме *Ряжск*.

Когда в последней четверти XVIII века это селение получило статус города, на его “гласном” (от *гласить*, т.е. говорить) гербе был помещен *ряж* – оборонительное сооружение в виде деревянного сруба, наполненного песком, на голубой ленте реки. Геральдические эмблемы таких гербов служат как бы иллюстрациями к топонимам, являются предметным изображением реалий, которые, по мнению местных жителей или составителей гербов, могли отразиться в названиях населенных мест. Например, в реестре городов, представленных графом Минихом в 1729 году в Военную коллегию, герб города Рыльска (в Курской области, на реке Сейм) имел описание: “на желтом поле кабанья голова” (т.е. от *рыло*, а не от названия речки *Рыло*, впадающей в Сейм); на гербе города Козлова – изображение “козла белого” (т.е. от нарицательного существительного *козел*, а не от антропонима Козел) и т.д. (Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. С. 189, 190).

Что же касается герба Ряжска, то перед нами весьма редкий случай изображения в геральдике не только той природной реалии, которая связана с географическим именем, – одной из рек с общим названием *Ряса* (*Рясы*), имеющих при себе уточняющие определения (*Становая*, *Московская*, *Ягодная*, *Гущина*, *Раковая* и др.), но и предмета, название которого изначально имя города не мотивировало.

Первичная форма ойконима (название населенного пункта) – *Ряжск* была мотивирована другими географическими именами (или каким-то одним именем) с основой *ряс-*. Здесь, между реками Хуптой (верхняя Ока) и Рясой (бассейн Воронежа), в XVI–XVII веках существовал *Ряжский волок*, проходивший через местность, носившую название *Ряжское поле* (по реке Ряс). В одном из документов 1502 года так сообщается об этом старинном пути: “...А из Прановой Хупты [очевидно, *Рановой*, так как Хупта – правый приток Рановы, правого притока Оки. – Е.О.] вверх до переволоки до Рясского поля... да переволокою Ряжским полем до реки до Рясы” (цит. по: Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи. СПб., 1873. Т. IV). Неясно только, какая из современных Ряс в конце XV – начале XVI веков служила продолжением этой “переволоки”, т.е. волока. Вполне вероятно, что это была *Раковая Ряс*, правый приток самой главной из речек с названием *Ряс* – *Становой Рясы*.

На это предположение наталкивает тот факт, что в документах XVI века степь между верховьями Дона и Оки, т.е. Ряжское поле, имела и другое название – *Раковые колки*. *Колками* (ед.ч. *колок*) на верхнем

Дону называют кустарники или небольшие рощи, состоящие из березы или дуба (Степи Центрально-черноземных областей. М.—Л., 1931). Вдоль Раковой Рясы протянулись эти рощицы — *Раковые колки*, а вся окрестная территория именовалась еще поэтому *Раковым полем*. Слово *поле* в это время означало также “пустошь, незаселенное место” (этимологически оно связано с *польей* “открытый, свободный, пустой”).

На Рясах в 70-е годы XVI века уже были сторожевые посты служилых казаков, которые вели наблюдение за “полем”. Позднее на этой территории появляется интересующее нас селение, название которого вначале было неустойчивым. В разных источниках зафиксировано несколько его вариантов. Самыми ранними, очевидно, были определительные словосочетания: *Ряской город* — “сторожевые козаки Ряского города” (Памятники южновеликорусского наречия. М., 1990); *Рязское городище* — на речке Ягодные Рясы (Книги разрядные, по официальным оных спискам изученные... П-м отделением собственной его императорского величества канцелярии. СПб., 1853. Т. I; 1623 г.). Нередко отмечается пропуск определяемого слова, и название селения предстает в форме топонимического прилагательного: *Рязский* (там же; 1623 г.), *Ряской*: “писать в Ряской тотчас” (Собрание материалов для изучения истории западного края Тамбовской губернии и епархии. Тамбов, 1878; 1662 г.). На базе этого прилагательного и возникла типичная для названий населенных мест форма топонима с исходным суффиксом *-ск*: *Ряск* — “до Ряска” (там же; 1662 г.).

В документах одного времени и даже в одних и тех же текстах этот топоним может встретиться в этих трех состояниях, например: *Рязское городище*, *Рязский* и *Рязск* (там же; 1623 г.). Таким образом, ранней и исторически правильной формой ойконима была форма *Ряск* (в гиперкорректной записи гидронимной основы — *Рязск*), которая мотивировалась названием реки *Ряса* (*Рясы*).

По мнению П.П. Семенова, название селения не могло быть производным непосредственно от гидронима (вероятно, он имел в виду главную реку — Становую Рясу, протекавшую в 30 верстах от города). Река, считал он, дала название *Ряскому* (*Рязскому*) *полю*, и только последнее — *Ряжску* (Семенов. Указ. соч.). Однако в описании местонахождения и маршрутов передвижения “сторож” (1623 г.) прямо указывается, что одна из них, “2-я сторожа, — *Ягодные Рясы*” (Беляев И. О сторожевой и полевой службе на польской Украине Московского государства до царя Алексея Михайловича // Чтения в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1846. № 4).

На ручье *Ягодная Ряса* и возникло *Рязское городище*, имя которого позднее изменилось в *Ряск*. Еще раньше на одной из речек с названием *Большая Ряса* (которое сейчас уже трудно локализовать; возможно, это иное, более раннее название тех же *Ягодных Ряс*) была третья “сторожа”: “3-я сторожа на Рясах на Больших” (Акты Московского го-

сударства. Т. I. Разрядный приказ. Московский стол 1571–1634. СПб., 1890; 1572 г.). Укрепленный городок, где несли свою полевую службу стрельцы и казаки, появился не в поле, а на берегу одной из речек с названием *Ряса* (*Рясы*), которое и предопределило название селения.

Произошедшее ко второй половине XVIII века ослабление первичной мотивации ойконима именем реки привело к появлению новой смысловой связи со словом *ряж*. Этому, безусловно, способствовала сохранившаяся память о том, что городок прежде выполнял оборонительную роль на южных рубежах России. Создатели его “гласного” герба механически и наивно объединили в его символике обе эти мотивации, а последняя из них повлияла на орфографию ойконима. В новом написании *Ряжск* он вошел в современную топонимию. Не пришло ли время исправить эту ошибку более чем двухсотлетней давности?

Теперь о названии самой реки или, точнее, целой группы речек с общим определяемым словом *Ряса* (*Рясы*), по которым урочище между Воронежом и Рановой было поименовано *Ряским полем*. В гидрониме *Ряса* отразился местный (народный) географический термин *ряса* “мокрое место, топь”. Вероятно, первичным состоянием гидронима была форма множественного числа – *Рясы*. Так вначале называлась обширная заболоченная местность, где зарождались и протекали около десятка ручьев, от слияния которых образовался приток Воронежа с современным названием *Становая Ряса*.

Благодаря частому в топонимии контактному переносу названий без изменения их формы на сопредельные географические объекты имя урочища (заболоченной местности) *Рясы* переносится и на протекающую через него речку с притоками. Примечательно, что древнейшие фиксации гидронима донесли до нас только форму множественного числа, например: “10-я сторожа верх Ряс”; за рекою за Доном, на усть Топкаго боярака над речкою над Рясы” (Акты Московского государства; 1571 г.; 1649 г.); “вниз до Ряс” (Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. Т. I. Воронежские акты. Воронеж, 1887; 1996 г.) и др. Этот приток Воронежа в записи *Raci* (т.е. Рясы) находим и на карте южной России Менгдена и Брюса (1699 г.). Зафиксирован и очень редкий вариант гидронима с уменьшительным суффиксом тоже во множественном числе: “дорога от Рясок усть Воронежа” (Акты Московского государства; 1751 г.).

Станичная служба и дальнейшее заселение этой “польской” окраины Русского государства – *Ряского поля* очень рано вызвали потребность в дифференцированном обозначении наиболее значительных водотоков, составляющих бассейн речки Рясы, носивших одинаковые имена. Так, уже в 70-е годы XVI века появляются гидронимы с уточняющими определениями: *Становые Рясы*, *Большие Рясы*; в первой четверти XVII – *Ягодные Рясы*, *Раковые Рясы* и др. Позднее, как увидим, количество таких составных гидронимов определительного типа станет еще больше.

Следующим этапом в грамматическом развитии гидронима *Рясы* будет приобретение им формы единственного числа с окончанием *-а* (*Ряса*) и благодаря этому вхождение его в огромный ряд русских речных названий с этим формальным показателем. Как увидим, этому способствовало появление на берегах речек и ручьев населенных пунктов с именем *Рясы* (впоследствии осложненным уточняющими определениями), названия которых на первых порах “копировали” гидроним (например, села *Становые Рясы*, *Ягодные Рясы*, *Раковые Рясы* на речках с такими же формами названий). Произошло расподобление омонимичных названий, относящихся к разным географическим объектам. Окончание множественного числа (вначале принадлежавшее гидрониму) остается в названиях селений, для которых оно привычно и часто в русской топонимии выполняет роль ойконимообразовательного средства (например, селения *Броды*, *Лбы*, *Колодези* и т.д.), тогда как в названиях речек оно замещается на *-а*.

Уже в середине прошлого века на картах и в географических описаниях Рязанской губернии множественная форма гидронима уже, по сути, отсутствует. В “Материалах по географии и статистике России”, посвященных Рязанской губернии (СПб., 1860) и “Списке рек Донского бассейна” П.Л. Маштакова (Л., 1934), составленном на основе военно-топографической карты-трехверстки, приводится следующий набор *Ряс* в бассейне Становой Рясы: *Московая (Московская) Ряса*, *Моховая Ряса*, *Гущина Ряса*, *Раковая Ряса*, *Ховейная Ряса* и *Колодезная Ряса*. Другие источники содержат сведения и о других *Рясах* – *Малой* и, вероятно, *Пиковой (Николовой)*.

В объяснении нуждаются определения, вошедшие в состав вторичных описательных гидронимов. Рассмотрим их в том порядке, в каком расположены имеющие эти имена речки в бассейне Становой Рясы – от верховьев до впадения ее в Воронеж. Из всех *Ряс*, писал П.П. Семенов, “Становая принимается за главную” (Указ. соч.). Как приток Воронежа *Становые Рясы* воспринимались уже в XVI веке: “вниз по Воронежу до усть Становых Ряс” (Акты Московского государства; 1572 г.). Их название – от *стан* “местонахождение казаков” (этот корень присутствует и в слове *станция*). На месте пребывания одной из казачьих сторожевых станиц позднее возникает село (бывшего Козловского уезда) с таким же именем – *Становые Рясы*, первые упоминания о котором относятся к XVII веку (Донские дела: Русская историческая библиотека. СПб., 1906. Т. XXIV. Кн. 2; 1646 г.).

Самой верхней из *Ряс* был правый приток Становой Рясы, который в большинстве источников носит название *Московая Ряса* (Списки населенных мест Российской империи. Рязанская губерния. СПб., 1862. Вып. XXXV; Семенов. Указ. соч.; Россия. Полное географическое описание нашего отечества. СПб., 1902. Т. 2 и др.). Вероятно, от *Мостковая*; т.е. *Ряса*, через которую был перекинут *мост*, построены *мостки*. В живой речи труднопроизносимое *стк* упростилось в *ск* (ср. аналогич-

ное: *сты́кло* → *стк\_ло* → *ск\_ло*). Утрата мотива номинации привела к более позднему переосмыслению этого уточняющего прилагательного и замене его близким по звучанию словом *московская*. Вариант *Московская Ряса* отмечен немногими источниками (см.: Некрасов. Река Воронеж // Журнал Министерства внутренних дел. 1856. Часть 20-я. СПб., 1856; Маштаков. Указ. соч.). Этот ручей именовался еще *Малой Рясой* (Географический словарь Тамбовской губернии в конце XVIII и в начале XIX столетий. Тамбов, 1902; 1801–1809 гг.)

Ниже Малой Рясы с правой стороны в Становую Ряску впадали Большие Рясы – параллельно употреблялось другое название *Ягодные Рясы*, по которым проходил волок и где находилась “2-я сторожа Ягодные Рясы”, а впоследствии возникло самое большое количество (по сравнению с другими Рясами) населенных пунктов: деревни *Ягодная Ряса* (или *Льговка*), *Ягодная Ряса (Вшивка)*, *Ягодное (Рясы, Львовка, Дикое Поле)*, *Ягодные Рясы (Львовка тож)*, *Ягодный Верх (Хансеевка)* и др. (Населенные места Рязанской губернии. Рязань, 1906; Списки населенных мест Российской империи. Вып. XXXV; Материалы для географии и статистики России... Рязанская губерния). Определение *ягодные (ягодная)* свидетельствует о том, что в XVI веке этот ручей протекал по местности, изобиловавшей ягодами.

Притоком Ягодной Рясы была заболоченная *Моховая Ряса*. Еще ниже *Становая Ряса* принимает правый приток *Гуцину Ряску*. Притяжательное прилагательное, очевидно, производно от антропонима *Гуца* (ср. современные фамилии *Гуца, Гуцин*). Изредка этот гидроним печатался в искаженном виде *Гуцинина Ряса*.

Еще ниже Становая Ряса с правой стороны принимает *Раковую Ряску*. В качестве гидронима это название отмечается в источниках только со 2-й половины XIX века, но опосредованно (в названии села *Раковье Рясы*, появившемся вследствие контактного переноса названия реки на селение) намного раньше – в одном из документов 1699 года (Собрание материалов для изучения истории западного края Тамбовской губернии и епархии).

Вдоль течения этой реки в середине прошлого века были два села – *Верхние Раковье Рясы* и *Нижние Раковье Рясы*. Уточняющее определение в описательном гидрониме, очевидно, содержит информацию о том, что воды этой речки в прошлом были богаты раками, ловлей которых промышляло местное население. Как уже отмечалось, по речке Раковье Рясы получило название урочище *Раковье Колки*. В издании начала нашего века “Населенные места Рязанской губернии” (Рязань, 1906) гидроним и ойконимы представлены в измененном виде: река *Рановая Ряса*, села *Верхние Рановы Рясы* и *Нижние Рановы Рясы*.

Сейчас уже трудно определить, что это – опечатки в тексте или реальные варианты топонимов. Если варианты, то на образование их могло оказать влияние топонимическое прилагательное *рановая (-ые)*, производное от названия соседней реки *Ранова* (прав. приток Оки).

На берегах Раковой Рясы находились еще два села с описательными названиями, включающими в себя отгидронимный компонент *Рясы*: *Верхние Пиковы Рясы* и *Нижние Пиковые Рясы* (Карта Рязанской губернии 1860 г., приложенная к книге “Материалы для географии и статистики России... Рязанская губерния”). В четвертом томе “Географическо-статистического словаря” П.П. Семенова эта пара ойконимов представлена в несколько ином оформлении, позволяющем установить происхождение и значение уточняющего определения: село *Пиковые Рясы* – и рядом сельцо *Пиково* (оно же Журавинка). Ойконим *Пиковы(е) Рясы* отразил гидроним только определяемой частью своего состава (*Рясы*). Его определяющая часть (*Пиковые*) появилась независимо от названия реки и содержит, вероятно, антропонимную основу (ср. современные фамилии *Пиков*, *Пиковец*). Село с таким же названием встречается и выше по течению – на Раковых Рясах. Состав этого ойконима только частично мотивирован гидронимом (*Рясы*). Не связанная с ним определяющая часть могла быть иной: по названию церкви святого Николая село именовалось также *Николовыми Рясами* или просто *Никольским* (Списки населенных мест Российской империи. Вып. XXXV; Населенные места Рязанской губернии). Это дает право утверждать, что соответствующих гидронимов *Пиковы(е) Рясы* и *Николы Рясы* не было.

Ниже Раковой Рясы в Становую Рясу тоже справа впадает речка, в названии которой содержится ее отрицательная характеристика. В разных источниках засвидетельствовано несколько его вариантов: *Говенная Ряса*, *Говейная Ряса* (Семенов. Указ. соч. – с замечанием, что она протекает среди хвойных лесов), *Ховейная Ряса* (Материалы для географии и статистики России... Рязанская губерния), *Ховенка* (Карта Рязанской губернии 1860 г.; Списки населенных мест Российской империи. Вып. XXXV. Рязанская губерния; Населенные места Рязанской губернии). Самая ранняя фиксация этого гидронима дает нам форму *Говеновка*: “в речке в Говеновке” (Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Тамбов, 1888. Вып. XXI; 1686 г.). Сейчас невозможно установить причину столь отрицательной характеристики этого притока Становой Рясы (возможно, слабое течение и загнивающая болотная растительность). Показательно, что его берега были малозаселенными.

Недалеко от места впадения в Воронеж Становая Ряса принимает небольшой ручей с названием *Колодезная Ряса*. В этом имени отразился народный географический термин *колодезь* “ручей, поток, небольшая речка”. Колодезная Ряса имела проточную и чистую воду – в отличие, очевидно, от Рясы Говенной, или Говеновки, с застойной водой с дурным запахом.

Рассмотренная нами топонимическая ситуация в бассейне одного из сравнительно небольших притоков Воронежа дает представление о том, какие сложные и разнонаправленные ономазиологические отно-

шения могут складываться между названиями территориально связанных географических объектов, как взаимодействовали и влияли они друг на друга, изменяя свою форму. Поэтому решение вопроса о происхождении даже одного из них требует комплексного анализа всех имен сопредельных географических объектов, содержащих общую топонимную основу (в нашем случае – изначально мотивированных гидронимом *Ряса. Рясы*). Каждое такое имя – продукт развертывания и функционирования небольшого, локально ограниченного звена региональной топонимной системы. Возникшие в нем названия не всегда в полном составе сберегаются в наши дни (благодаря поздним переименованиям или просто забвению отдельных форм). Моделирование таких звеньев помогает исследователю постичь логику когда-то существовавших живых мотивационных связей, ослабленных или разорванных в последующий период.

*Донецк*



## НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ИМЕНА В СМОЛЕНСКИХ ГРАМОТАХ

И.А. КОРОЛЕВА,

кандидат филологических наук

Среди массы дошедших до нас старых неканонических имен особый интерес представляют имена с диалектными основами – ведь именно они наиболее ярко характеризуют антропонимическую систему любого региона. Вот несколько редких имен с узким ареалом, выявленных нами в памятниках смоленской деловой письменности XV–XVIII веков: смоленский князь *Киндерей* (XV в.), панцирный слуга Юрьевского пути *Сыркваша* (1490 г.), слуга Болдина Дорогобужского монастыря *Шевкун* (1586 г.), Михаил *Полнабок* (1749 г.) и др. Документы Смоленского архива позволяют иногда проследить, как на базе подобных неканонических имен возникали нестандартные, весьма своеобразные фамилии. Так, от имени *Нарбут* образовалась хорошо известная на Смоленщине фамилия *Нарбутович*, засвидетельствованная – и не раз – источниками второй половины XVII – первой половины XVIII веков и сохранившаяся до настоящего времени. На основе имени *Полнабок* возникла довольно редкая фамилия, оформившаяся в середине XVIII века, о чем свидетельствует запись о целой семье, где упомянуты дед, отец и двое сыновей – смоленские помещики *Полнабоки*. (Здесь и далее использовались материалы рукописных фондов Центрального государственного архива древних актов и Смоленского исторического музея.)

Самые ранние неканонические имена, бытовавшие на Смоленщине, засвидетельствованы в памятниках письменности, относящихся к истории Смоленского княжества. Напомним, что Смоленск входит в число

древнейших русских городов: первое упоминание о нем в летописях зафиксировано под 863 годом (Устюжский летописный свод).

Сохранилось лишь несколько памятников письменности эпохи богатого и могущественного Смоленского княжества. Это хорошо известные историкам смоленские грамоты XIII–XIV веков: Договор неизвестного смоленского князя с Ригой и Готским берегом (1229 г.); Грамота князя Федора Ростиславича по судному делу о немецком колоколе (1284 г.); несколько подтвердительных грамот смоленских князей разных лет (1284 г., 1300 г., первая пол. XIV в.) и некоторые другие.

В составе лексики документов определенный интерес представляют антропонимы. Довольно много среди них неканонических имен, которые использовались и в качестве первого именованья смолян (*Бирель, Пуята, Пьсков* и др.), и в качестве второго имени (*Остафий Дядко, Олекса Черный, Семен Непролеи, Юри Голова* и т.п.).

Имен с диалектными основами немного, но они очень заметны в текстах и дают богатый материал для описания.

Одно из интересных и редких старых неканонических имен встретилось нам в качестве первого личного имени: “Се яз князь смольньскый Федор судил есмь Биреля с Армановичем про колокол про немецкый. Бирель прав, а Армановичь виноват” (Грамота князя Федора Ростиславича по судному делу о немецком колоколе, 1284 г.). Помимо смоленского источника, это неканоническое имя в форме *Бириль* засвидетельствовано С.Б. Веселовским как второе именованье новгородского крестьянина – Василий *Бириль* – XV в. (Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974), а позднее – в XVI веке – упомянута фамилия *Бирюлев*. Хорошо известен топоним *Бирюлево* в составе Москвы. На Смоленщине же имя бытовало еще в XVII веке: Федор *Бирель* сн Ляпушин. Неоднократно в старобелорусских текстах XV–XVIII веков отмечается имя *Бирыла* того же корня (Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія. Мінск, 1966). В настоящее время в материалах Смоленского ЗАГСа нам встретилась редкая нестандартная фамилия *Бирель*, а также еще две родственные – *Бируля* и *Бирюлев* (последняя стандартизованная). Широко известны современные белорусские фамилии Бірыла, Бірылевич.

Необходимо отметить, что апеллятив *бирель* (или сходные с ним фонетические варианты) ни в памятниках письменности XI–XIV веков, ни в источниках XV–XVIII не представлен. Однако, как утверждают многие антропонимисты, отдельные слова, не проникнув в памятники письменности в виде нарицательных существительных, попадали туда, как только начинали употребляться в роли личного собственного имени. Впервые в лексикографических источниках лексемы *бириль, бирюля, бирюлька* “дудочка и мелкая игрушка из дерева” фиксируются В.И. Далем в его словаре. Широко представлены слова с рассматриваемым корнем и в современных русских народных говорах: *бирюлить* “напевать, перебирая пальцами по губам” (пск.); *бирюлька* “пастушья

свирель” (влад.), “маленький узор на материи” (твер., пск.); *бирюльки* “пение при сжатых губах, прерываемое ударом пальцев по губам” (пск., твер., перм., сиб.), “баранки или крендели” (пск., твер., сиб.), “кисти цветов” (волог.); *бирюльня* “игра, забава с маленькими детьми. Ударяют по губам пальцами и произносят при этом звук, похожий на междометие: бирь, бирь, бирь!” (волог.); *бирюля* (влад., ряз.) “дудка, свирель” (Словарь русских народных говоров. М., 1966. Вып. 2. Далее – СРНГ).

Обратим внимание на ареал диалектизмов – это Северо-Запад и Сибирь (места вторичного заселения). Необходимо указать также, что хотя слова с рассматриваемой диалектной основой в современных смоленских говорах и не сохранились, они, несомненно, бытовали на территории края еще в начале XX века. Так, в частности, в иллюстративных текстах Смоленского областного словаря В.Н. Добровольского (частушках, побасёнках) несколько раз употреблено междометие *бирь-бирь*, что, на наш взгляд, связано с распространением на Смоленщине описанной ранее незамысловатой игры с детьми или дудочки определенного вида (Смоленск, 1914). Можно предположить, что старое неканоническое имя могло возникнуть в результате способа именования лиц по характерному действию. Например, в составе прозвищ, собранных тем же В.Н. Добровольским, мы обратили внимание на именования типа *Дюк* “о человеке, который постоянно постукивал табакеркой и издавал подобный звук” (Добровольский В.Н. Прозвища крестьян с. Березовки Дмитровского уезда Орловской губернии. Живая старина. 1898. Вып. 3. Ч. 4).

Довольно продуктивна в современных смоленских прозвищах модель на *-ель*: *Звонель, Пяхтель, Пузель, Скрибель*.

В смоленских грамотах в качестве второго именования нами выявлено редкое неканоническое имя *Бяртолт* (вар. *Бартолт*) – горожанин Петр *Бяртолт* (Подтвердительная грамота князя Федора Ростиславича, 1284 г.). Поскольку в смоленских текстах наблюдается сильное смешение гласных, следует предположить, что могли существовать и варианты *Бертолт, Биртолт*, тем более, что ударение проследить невозможно. Позднее, в памятнике смоленской деловой письменности XVII века, нами выявлено имя *Барт*: Алекса *Барт* Кузьмин, пирожник.

На наш взгляд, основа у антропонимов едина: скорее всего, имели место определенные фонетические процессы – беглость гласного, упращение групп согласных. Единственный апеллятив представлен в Словаре русского языка XI–XVII вв.: *берт* “сосуд, бочонок”, засвидетельствованный в единственном тексте – XIII–XIV веков – Хронике Г. Амаргола (М., 1975. Вып. 2). Лексиконы и словари последующих эпох лексему с подобным звуковым комплексом не фиксируют. Н.В. Бирилла в своих материалах отмечает прозвище XV века *Бартла* с неясной этимологией. Современная фамилия *Бартлов*, по нашему мнению, так же, как и редкая нестандартная фамилия *Бертол* (Мате-

риалы Смоленского ЗАГСа), образованы от разных вариантов рассматриваемого старого имени.

Не исключена и еще одна версия происхождения антропонима. Возможно, мы имеем дело с ранним заимствованием из немецкого (ср. *Берта, Бертольд*). Укажем, что Смоленское княжество вело большую торговлю с немецкими землями, свидетельством чему являются сохранившиеся договоры, которые регламентировали отношения Смоленщины с немецким орденом в XIII–XIV веках.

Во всех шести редакциях знаменитого смоленского договора 1229 года с Ригой и Готским берегом без изменения представлено еще одно неканоническое имя – *Тумаиш*: “Пре сей мир трудили ся дъбрии людие Рольф ис Кашеля бжи дворянин Тумаиш смольнянин”. В качестве первого имени антропоним бытовал на Смоленщине еще в XVII веке: *Тумаиш* Михалев.

С.Б. Веселовский в своем “Ономастиконе” отмечает единственную фиксацию этого имени в новгородском памятнике 1545 года – *Тумаиш*, крестьянин. Указано и на довольно прозрачную семантику антропонима, образованного на базе диалектного северо-западного апеллятива *тумеша* “суматоха, бесполочь”. Подтверждают значение старого имени и современные смоленские говоры: им хорошо известно существительное *тумиша* “беспорядок” (Картотека Словаря смоленских говоров). Имя дало начало целому ряду современных фамилий, отмеченных нами: *Тумаишев, Тумаишов, Томаишов* (перегласовка, характерная для некоторых, в том числе и смоленских, русских говоров), *Томаишевич, Томаишевский*.

Весьма интересная конструкция с именованим смолянина по отчеству, образованному от некалендарного имени *Арман*, выявлена нами в уже упоминавшемся документе – Грамота князя Федора Ростиславича по судному делу о немецком колоколе 1284 г.: “... Выдал есмь Армановича с двором немьцом за колокол... Бирель прав, а Армановичь виноват”.

Личное имя *Арман*, помимо смоленских источников, в XVI веке отмечено в качестве прозвища жителя Коломны – *Арман* Григорий Тимофеевич Бухарин-Наумов, 1560 год (Веселовский. Указ. соч.). Апеллятив же с подобным звуковым комплексом в древнерусских и старорусских источниках не выявлен и не представлен словарями. Позднее В.И. Даль отмечает существительное *армай* “разбойник”, указывая на его татарское происхождение и на бытование в Оренбургском крае (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I). Словарь русских народных говоров представляет несколько апеллятивов: *арман* “ток для молотьбы” (новорос.); *армань* “березовый лес у реки” (тул.); указано, что слово может бытовать и как прозвище; *армаить* “разбойничать, бунить”; *армай* “разбойник”, “хулиган, буйан, озорник”, “шалун”. Исключая последнее значение существительного *армай* – “шалун”, бытовавшее в 30-е годы XX века на Южном Урале, все дру-

гие значения названных апеллятивов приведены со ссылкой на Даля и Опыт областного великорусского словаря 1852 года – современными данными не подтверждены. Возможно, лексемы ушли в пассивный словарный запас языка (СРНГ. Вып. 1). А вот фамилия *Арманович* осталась и входит в список современных русских фамилий.

Как видим, старые неканонические имена с диалектными основами, отмеченные в смоленских грамотах XIII–XIV веков, пройдя долгий и сложный путь развития и бытования, явились базой для создания целого ряда интересных русских фамилий, в основе которых и продолжают свою жизнь в языке.

*Смоленск*



Русское народное творчество  
и немецкие переводы  
В. Кюхельбекера

*Р. Г. НАЗАРЬЯН,*

*кандидат филологических наук*

Внимание В.К. Кюхельбекера к российским древностям, надо полагать, возникло не без влияния его родственника Г.А. Глинки (был женат на старшей сестре Вильгельма), профессора русского языка и словесности в Дерптском университете, а впоследствии воспитателя великих князей Михаила и Николая. Во времена своего профессорства Глинка, желая пробудить интерес к России и её прошлому у немецкого населения остзейских губерний, издал книгу “Древняя религия славян” (1804), а затем, в 1807 году, учебник русской словесности для немецкоязычных учебных заведений Курляндии, Эстляндии и Лифляндии. Эти книги были хорошо знакомы лицеисту Кюхельбекеру, ибо он вёл с Глинкой оживлённую переписку и получал от него литературу. По просьбе юного родственника Глинка принял “на себя обязанность руководствовать [его] рассудок и чувства” (РГАЛИ, ф. 256, оп. 2, ед. хр. 10; письмо от 5 апреля 1815 года).

Выросший в Лифляндии и получивший там немецкое образование, Кюхельбекер, придя в Лицей, остро ощущал пробелы в знании русского языка и русской словесности. Этим объясняются усердие и прилежание, отличающие гордого и самолюбивого юношу, не желающего ни в чём отставать от сверстников. Он много читал, знал, по выражению Е.А. Энгельгардта, “вся и всё” и очень скоро стал признанным в Лицее “энциклопедистом” — “живым лексиконом и вдохновенным комментарием” (А.С. Пушкин). Уже в те годы Кюхельбекер обладал основательными познаниями в античной и средневековой поэзии, поэзии Востока и современной ему Европы. Весьма прилежно изучал поэтическое творчество русского народа.

Под влиянием событий 1812—1814 годов у Кюхельбекера возникло желание ознакомить читающую Европу с поэтическим гением народа-

победителя, и он решает написать книгу о древней русской поэзии, снабдив её лучшими образцами народного творчества в собственном немецком переводе. Замысел его был выполнен, что подтверждается письмом А.Д. Илличевского к П.Н. Фуссу от 28 ноября 1815 года (“Наш лицейский воспитанник Кюхельбекер написал на немецком языке рассуждение о древней русской поэзии, которое, как я думаю, также будет напечатано. Хвала русскому языку и русскому народу! Последняя война доставила ему много славы — и я уверен, что иностранцы, разуверившиеся, что мы варвары, разуверятся также и в том, что наш язык варварский — давно пора этому!” — Грот К.Я. Пушкинский Лицей (1811—1817). Бумаги 1-го курса, собр. академиком Я.К. Гротом. СПб., 1911. С. 57) и извещением А.А. Дельвига о труде Кюхельбекера в журнале “Российский музеум” (1815. Ч. IV. № 11. С. 210—211). Книга эта так и не была напечатана, ибо, как свидетельствует дневник Кюхельбекера, ещё в 1825 году рукопись её находилась в Москве у приятеля поэта И.Х. Геринга (Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 95). Затем след рукописи теряется, и потому о задуманной книге, названной автором “*Versuch über die ältere russische Poesie*” (“Рассуждение о древней русской поэзии”), известно совсем немного. В числе русских образцов, отобранных и переведённых им для будущего издания на немецкий язык, сам Кюхельбекер называет сказку “Сорок калик со каликою” из сборника Кирши Данилова (Там же). Ещё два немецких стихотворения, написанные рукою Кюхельбекера, сохранились в лицейских бумагах (Грот К.Я. Пушкинский Лицей... С. 208—209). Одно из них, условно названное “*Der Kosak und das Mädchen*”, по утверждению Ф.Я. Приймы, является переводом украинской народной песни “Ехал казак за Дунай” (Русская литература. 1960. № 3. С. 170—173). Можно предположить, что оно было предназначено для включения в задуманную книгу.

Второе из этих двух стихотворений до сих пор не привлекало внимания учёных. Между тем, обнаруживший его академик Я.К. Грот предполагал в нём “если не сочинение, то переложение Кюхельбекера” (Грот К.Я. Пушкинский Лицей ... С. 208). Из-за недостатка места приводим подстрочный перевод этого довольно объёмного стихотворения (его немецкое название “*Die Verwandten und das Liebchen*” — “Родственники и возлюбленная”):  
 Пой жаворонок, пой мне песенку,/ Пой весною  
 в высоком поднебесье:/ В тюрьме сидит парень,/ Славный малый, молодец честный и добрый./ Пишет он письмо своим родителям:/ “Ты, мой отец, мой милостивый господин,/ И ты моя мать, мать добрейшая, — /О, освободите, освободите же вашего сына!”/ Но родители — они отвергли его,/ И все его друзья отреклись от него:/ “Не было в доме нашем,/ Не было ни воров, ни разбойников”./ Пой же жаворонок, пой мне песенку,/ Пой весною в высоком поднебесье:/ В тюрьме сидит парень,/ Славный малый, молодец честный и добрый./ Пишет он письмо своей девушке:/ “Прекрасная душа, доброе сердце,/ Ты моя возлюбленная,

возлюбленная милая и верная,/ Купи своему любимому дружку свободу!”/ И воззвала тогда прекрасная душа:/ “Ой, вы, горничные, подружки детских лет,/ И ты, кормилица, и, ты, нянька!/ Принесите мне, принесите золотой ключик,/ Отоприте мою заветную шкатулку,/ Вынимайте поскорее мои сокровища:/ И купите на них мододцу милому и верному,/ Купите, ах, купите, моему возлюбленному свободу!”

Полагая, что и это стихотворение Кюхельбекер собирался включить в книгу о древней русской поэзии, мы обратились к отечественным изданиям тех лет. Догадка подтвердилась — в “Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах”, изданном Обществом любителей российской словесности (СПб., 1815), на странице 292-й в разделе “Народные песни” обнаружен текст предполагаемого источника перевода:

Ты воспой, воспой, жавороночик,  
Сидючи весной на проталинке:  
Добрый молодец, сидя в темнице,  
Пишет грамотку к отцу, к матери.  
Во письме пишет добрый молодец:  
Государь ты мой, родной батюшка!  
Государыня, родна матушка!  
Выкупайте вы добра молодца,  
Своего сына вы родимого! —  
Отец с матерью отказались,  
И весь род, племя отрекались:  
В роде нашем-де воров не было,  
Воров не было, ни разбойников.  
Ты воспой, воспой, жавороночик,  
Сидючи весной на проталинке:  
Добрый молодец пишет в темнице  
Ко душе своей красной девице:  
Ты душа моя, красна девица,  
Моя верная полюбовница!  
Выручай меня, добра молодца! —  
Вдруг возговорит красна девица:  
Ах вы, нянюшки, мои, мамушки!  
Мои сеньня, верны деушки!  
Принесите вы золоты ключи,  
Отмыкайте мне ларцы кованы,  
Доставайте вы золоту казну,  
Выкупайте вы добра молодца,  
Друга милого и сердечного!

Строки этой песни, во многом точно совпадающие с немецким переводом Кюхельбекера, не оставляют сомнений в том, что именно она послужила источником его вдохновения. Цензурное разрешение на книгу, в которой представлена народная песня, было дано Иваном Тимковским 6 апреля 1815 года, что позволяет отнести работу лицеиста над переводом к лету—осени того же года (ибо к ноябрю, судя по письму Илличевского, труд свой Кюхельбекер уже завершил).

Перевод свидетельствует о стремлении автора передать немецким

читателям самобытность и оригинальность русского поэтического слова, его дух и пафос.

В уже упомянутой заметке Дельвиг на стр. 211 сообщал читателям “Российского музеума”, что Кюхельбекер в своей книге прослеживает историю русской поэзии, начиная от “Слова о полку Игореве”. Затем автор “Рассуждения...”, писал Дельвиг, «переходит к песням. Здесь распространяется о веке, которому можно бы было приписать их, разделяет их на песни элегические ... и балладические <...> Наконец тою же самою мерою и как можно ближе переводит лучшие. В конце рассуждения говорит он о русских сказках, собранных г. Ключарёвым <...> Всего любопытнее приведу вам описание коня, переведённое тем же размером из известной сказки: “Начинается сказка от сивки, от бурки” и пр.». Следом Дельвиг приводит немецкий текст стихотворения, мы же вновь ограничимся подстрочным переводом: Когда же конь скачет,/ Сотрясаются недра/ Расколотой земли./ Отважный конь/ Вихрем минует леса,/ Горы и долины./ А позади него шум,/ А позади него треск./ Да ветер в ушах/ Воет и свистит.

Сборник сказок, упоминаемый Дельвигом, имеет весьма приблизительное отношение к Ф.П. Ключарёву, директору Московского почтового ведомства и второстепенному литератору, в руки которого каким-то путём попала рукопись неизвестного собирателя русского фольклора. Ключарёв поручил её издание А.Ф. Якубовичу, служившему под его началом. И когда в 1804 году в Москве вышли в свет “Древние российские стихотворения” (то есть “Сборник Кирши Данилова”), в читательском сознании это событие прочно связывалось с именем Ключарёва, а не скромного чиновника Якубовича.

Все эти сведения сообщаются попутно, важно для нас то, что Дельвиг ошибся: в указанном сборнике нет подобного описания коня, встречаются лишь отдельные упоминания лошадиной масти (“бурочка-кочматочка” и “сив жеребец”). Отрывок же о “сивке-бурке” содержится в труде Г.А. Глинки “Древняя религия славян”. Профессор Дерптского университета, рассуждая о “славянских и славяно-русских богатырях”, приводит текст стихотворной народной сказки, зачин которой абсолютно совпадает с дельвиговским; да и прочие “конские” атрибуты её не оставляют сомнения в том, что именно она послужила источником для немецкого перевода Кюхельбекера:

Начинается сказка  
От сивка, от бурка,  
От веща коурка...  
Конь сиво-бурый  
И сиво-коурый.  
Где конь побежит,  
Там земля задрожит:  
А где конь полетит,  
Там весь лес зашумит <...>  
Как по твёрдым горам

Подымается конь  
 Выше тёмного лесу  
 К густым облакам  
 Он и холмы и горы  
 Меж ног пропускает;  
 Поля и дубравы  
 Хвостом устилает;  
 Бежит и летит  
 По землям, по морям,  
 По далёким краям ...

(Глинка Григорий. Древняя религия славян. Митава, 1804. С. 54—58).

Отметим кстати, что в заметке Дельвига упоминается и некий Борг, вознамерившийся “перевести все знаменитые стихотворения русских поэтов и тем преимуществом пред прочими переводчиками, что он с особенною точностию удерживает красоты подлинника”. И слово своё переводчик сдержал: в 1820 и 1823 годах бывший студент Дерптского университета (1811—1816) Карл фон-дер-Борг, начавший свою работу почти одновременно с Кюхельбекером, издал два тома антологии русской поэзии на немецком языке. Первый из них, прочитанный Вильгельмом, послужил материалом для критической статьи декабриста “Разбор фон-дер-Борговых переводов русских стихотворений” (1825).

Русская критика в целом довольно благожелательно оценила труд Борга, хвалебные отзывы о нём появились и в зарубежной прессе. Рецензия же Кюхельбекера на этом фоне прозвучала явным диссонансом. Декабристского критика совершенно возмутил тенденциозно-избирательный круг русских авторов, обеднявший, по его мнению, картину отечественной словесности. Раздражение вызвала у Кюхельбекера и появившаяся в немецкой периодике анонимная заметка о переводах Борга, в которой вся русская поэзия признавалась незрелой и подражательной. Негодуя на переводчика, отдавшего явное предпочтение школе Карамзина—Жуковского (с представителями которой Кюхельбекер в то время расходился принципиально), и на оскорбительное мнение немецкого критика о русской словесности, Кюхельбекер решил “прочитать” обоих. Воздав должное достоинствам перевода Борга и “истинным приговора” анонимного рецензента, он завершил свой разбор словами: «В заключение критик желает, чтобы г. фон-дер-Борг сообщил немцам точные, *непоновленные* переводы наших старинных народных песен, “в которых” (будто бы) “говорится о богах древних славян, пиршествах Владимировых, витязях его времени, которые” (будто бы) “все дышат глубокою заунывною”. Мы не знаем *песен* (ни даже сказок), в коих говорилось бы о богах славянских; также можем уверить г. критика и г. фон-дер-Борга, что не все наши старинные песни заунывны; но разделяем от всего сердца просьбу первого г. фон-дер-Боргу, человеку с истинным дарованием, просьбу передать своим соотечественникам лучшие наши песни и сказки народные, особенно же

“Слово о полку Игореве...”» (Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи. С. 497).

В этих суждениях явно прослеживаются принципы, коими определялась переводческая деятельность самого Кюхельбекера в период работы над книгой о древней русской поэзии.

Итак, теперь можно говорить о четырёх произведениях, включённых Кюхельбекером в свою немецкую книгу. И, возможно, дальнейшие поиски расширят наши представления о круге чтения лицеистов и о характере их литературных занятий.

*Самарканд*

Слово *аминь*  
в русском  
речевом этикете

А.Г. БАЛАКАЙ,  
кандидат филологических наук

Нормы христианской морали, определившие духовный уклад русского общества, русский менталитет, нашли свое выражение и в культуре речевого общения — в светской и особенно в престонародной. Непосредственно знаками речевого этикета стали библейские выражения: *Мир вам. Мир твоему (вашему) дому; Мир дому сему; Идите (ступайте) с миром; Бог (Господь) с тобой (с вами);* и др., а также многочисленные формулы утешения типа *Господь дал, Господь взял* и др.

Связь русского речевого этикета с христианской духовной культурой опосредована местными обычаями, бытовыми обрядами, разнообразными семантическими и социостилистическими наслоениями. Весьма показательна в этом отношении судьба слова *аминь* в русском языке.

*Аминь* — древнерусское заимствование (XI в.) из старославянского, восходящего к греческому заимствованию из древнееврейского *āmēn* — “верный, надежный, истинный”; “поистине, да будет так”.

В Библии это слово, хотя и при различном употреблении, имеет одно и то же значение — “(истинно, да будет)... Оно служит подтверждением ответа и употребляется для обозначения согласия или совершенной уступки. Оно иногда переводится словом: *истинно*, и часто употреблялось Господом, когда Он изрекал какую-либо важную и тождественную истину. Повторение этого слова: *истинно, истинно, говорю вам*, усиливает подтверждение. Между первенствующими христианами было обычным делом для всех присутствующих при Богослужении произносить: *аминь!* в конце каждой молитвы, или при принесении благодарения (1 Кор. XIV, 16). Иудейские писатели говорят: *нет ничего выше в очах Божиих, как слово аминь, которым Израильтянин подтверждает свою речь*. Обетования Божии суть *аминь*, потому что они сделались верными и несомненными во Христе (II. Кор. I, 20). Слово *аминь* служит одним из наименований нашего Господа (Откр. III, 14), так как Он есть верный и истинный Свидетель. Слова *аминь* и *аминь* служат красноречивым и возвышенным заключением одной из торжественных песней Давидовых (Пс. XL, 14)” (Библейская энциклопедия. М., 1891).

В русском языке *аминь*, как широкоупотребительное слово, расши-

рило свою семантическую структуру и фразеологические связи, выступая в разных ипостасях, например наречия: “истинно, верно”. “[Премудрость:] *Аминь глаголю: яко сотвориште братии меньшей — мне сотвориште*” (СлРяз. XVIII в.); как утвердительная частица “истинно, Да будет так”, употребляется обычно в качестве заключительного слова христианских молитв, проповедей, нравоучений, посланий (СлРяз. XI—XVII вв.); в значении существительного “конец” употребляется в просторечии: “Народ обратил *аминь* в существит., разумея либо молитву, либо конец дела... *Аминь человека спасает ... Аминь тому делу ... Под аминь пришел, под конец дела*” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I).

В разговорной речи *аминь* употребляется в качестве односоставного предложения, выражая полную исчерпанность, завершенность действия: “кончено”, “все”, “довольно”, “хватит об этом”. “Базаров поднял голову. — Я только этим и горжусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. *Аминь!* Кончено! Слова об этом больше от меня не услышишь” (Тургенев. Отцы и дети).

В значении междометия употребляется в просторечии и говорах как заклинательное слово или в составе заклинательных формул: “*Аминь, Аминь, рассыпья*, говор. нечистой силе” (Даль В.).

Становление и употребление *аминь* в качестве знака речевого этикета связано прежде всего с расширением сферы употребления частного значения “воистину, истинно, да будет так”. Церковный канон богослужения предполагает пение заключительного слова молитвы с клироса: “*Аминь с клира поется*”. Модель богослужебного диалога переносится в сферу внецерковного, стилистически возвышенного (или шутливо-возвышенного) общения.

“[Pater:] Твои слова, деянья судят люди./ Намеренья единый видит бог. [Самозванец:] *Аминь. Кто там?*” (Пушкин. Борис Годунов). Здесь *аминь* как форма выражения согласия уже не часть молитвы, но еще и не этикетный знак. Знаком этикета оно становится, когда выходит из церковного ритуала в сферу бытового общения, когда его воспроизводимость становится социально предписанной. В русских народных говорах, преимущественно среди староверов, *аминь* употребляется как ответ на приветствие: “*Отдать аминь* — значит сказать *аминь* из избы на молитву: *Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас*, — которую говорит дружка под красным окном на улице или у дверей, прежде, нежели войдет в избу. Впрочем, молитву эту читают и подошедшие с улицы к окну спросить об чем-либо у хозяина, и приезжающие на ночлег”. “В двери стучатся с молитвой: — *Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас*, — старик отдаст *аминь*, входит жена” (В.Максимов). “Проклятов дома, на Урале, никогда не божился, а говорил “ей-ей” и “ни-ни”; никогда не говорил “спасибо”, а “спаси ты Христос”; входя в избу, останавливался на пороге и говорил: “*Господи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй нас!*” и выжидал ответного:

“Аминь!” “(Даль В. Уральский казак); “Господи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй нас!” — проговорил Фомушка, постучавшись в дверь. — А кто-ся там? — послышался изнутри разбитый старческий голос. — Все мы же — богомолы-братья, люди Божии, свой народ. — Аминь! — ответил тот же голос. И Фомушка с Гречкой вошли в чистую и просторную горницу...” (Крестовский В. Петербургские трущобы).

Функционально близки и производные народные обращения: “*Есть ли кому аминь отдать*; есть ли кто в избе” (Даль); *Аминь, кто крещишой?* — т.е. “кто там?”, обращение к тому, кто за калиткой, за воротами, за дверями, а также в значении: “есть кто дома?” (Словарь русских народных говоров. М., 1965. Вып. 1. Далее — СРНГ).

С междометным значением *аминь* связаны такие областные выражения, как: *Аминь-Аминь!* — т.е. “Ба-ба!”; *Аминь будь!* — “слава Богу!”, а также модальное образование (оберег) *Аминь-слово* — “не во вред будь сказано” — он рачителен к хозяйству: *Аминь-слово, он уж к дому поверует* (СРНГ).

В уральских говорах отмечено этикетное пожелание отходящему ко сну *Аминь под бок* — “спокойной ночи”, возникшее, вероятно, в результате слияния значений существительного *аминь* — “молитва, сохраняющая, оберегающая спящего” (Подюков И.А. Народная фразеология в зеркале народной культуры. Пермь, 1990).

*Новокузнецк*



## СТАНИЦА, СТАНИЧНИК

Т. А. ВОЛОШИНА,

кандидат филологических наук

Обратившись к письменным русским памятникам и историческим словарям, мы узнаем, что слово *станция* отмечается в первой половине XVI века в значении “хор, клирос”, “разряд певчих”: “Митрополичья дьяки, обе станции, поют: ... исполати деспота; Повелеша тогда пети диаком его певчим болшой станции” (Словарь древнерусского языка Срезневского. Т.3). *Клирос* обозначал низших служителей церкви — чтецов и певчих, церковный хор. Интересное замечание содержится в “Музыкальной грамматике Николая Дилецкого”, изданной в 1681 году: “Певчие ныне в музыкальстем согласии нарицаются... гречески хоры, по киевски клиросы, по руски станции...”

В этом значении слово *станция* продолжало употребляться и в XIX веке. В Словаре В.И. Даля отмечено, что *станция* — это один клирос, половина церковного хора. Кроме того, певчие церковного хора делились на разряды по достоинству их: певчие первой, второй, третьей станции (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.4).

В XVI—XVII веках слово *станция* уже могло обозначать отряд вооруженных воинов, которые несли службу по разведке и охране границ и т.п. В Словаре Срезневского помимо указанного есть еще и значение “селенье”, однако примеры не приведены и дана ссылка на слово *станичник*. *Станичник*, как указано в словаре, обозначает “жителя станции”.

Слово *станция* по происхождению связано с существительным *стан*, которое восходит к основе *ста-* (ср. *стать*). Существительное

*стан* древнего происхождения и известно во многих славянских языка в значении “лагерь, жилье, военная ставка, палатка и т.п.”. Греческое слово *parembole* “построение войска, строй, войско, лагерь” переводится в Библии словом *стан*. На Дону *войсковым станом*, возможно, называли центр, где располагалось управление Войском Донским и постоянные вооруженные силы. Уменьшительная же форма *станница* относилась к небольшим подвижным казачьим отрядам.

Казачьи поселения на Дону в XVI—XVII веках называли *городком* — это были небольшие укрепленные пункты, мало пригодные для жилья, но достаточно сильные для отражения нападений врагов.

Отряды казаков во главе со своими атаманами селились вместе. Постепенно, начиная с конца XVII века, название *городок* уступает место слову *станница*. Возможно, это было связано и с тем, что после того, как донцам удалось справиться со своими врагами и укрепить границы Войска Донского, меняется и тип казачьего поселения — на месте неблагоустроенных жилищ, призванных служить временным убежищем, появляются обжитые селения с различными хозяйственными постройками, пашнями, лугами и т.д.

Кроме того в XVI—XVII веках *станницей* на Дону называли также казачьи посольства, направлявшиеся для переговоров. В таком значении слово *станница* встречается в переписке Петра I по поводу восстания под руководством К. Булавина: “Также и к Москве послана от них станитца с опъравданием с отпискою” (Письмо Петра I к князю А.Д. Меншикову. 1708). Из документов по истории Дона известны выражения: *зимовая* и *легкая станница*, *вестовая*, *карательная станница*.

*Зимовой станницей* именовали в XVI—XVIII веках казачьи посольства, которые ежегодно направлялись в Москву для решения различных вопросов: отношений между Войском Донским и Московским государством; получения жалованья, оружия, одежды и т.п. Первоначально *зимовая станница* отправлялась зимой и состояла из 100 казаков во главе с атаманом и есаулом. Кроме этого в течение года в Москву направлялись *легкие станницы* (их еще называли *вестовыми*), которые состояли из 10 или 5—6 человек.

На Дону были известны и *карательные станницы* — отряды, направляемые для борьбы с возмущениями среди донских казаков.

Итак, в конце XVII — начале XVIII веков *станницами* называют уже не отряды казаков, которые служили для защиты Войска Донского от врагов или для охраны границ Московского государства, а места проживания казаков. Но память об удалых, смелых и вольных воинах осталась, и в XVIII—XIX веках *станницей* в России также называли отряды разбойников: “Такая песня раздавалась/ На скате волжских берегов./ Где своевольных удальцов/ Станица буйная скрывалась” (Языков. Разбойники).

А.К. Толстой в “Князе Серебряном” пишет: “Лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников”. В.И. Даль отмечал упо-

требление слова *станичник* как бранного для обозначения буяна, своевольника в тверском говоре.

Старое значение слова *станница* как сообщества казаков, возможно, присутствует в обращении “честная станица”, известном на Дону в прежние времена, как отмечает А.В. Миртов в “Донском словаре”. До революции Походный атаман всех казачьих войск вел. кн. Борис Владимирович приветствовал казачьи полки словами: “Здорово, станичники!”, государь же обращался со словами: “Здорово, Донцы!” В обращении *станичники* выступает не известное значение “жители одной станицы”, а обозначение группы казаков, казачьего сообщества.

В говорах и литературном языке известно еще одно значение слова *станница* — “стая или стадо, табун, гурт, вереница”. В.И. Даль приводит примеры такого словоупотребления: “*Волки зимой станницами бродят <...> По осени я наткнулся на станницу змеиную*”. Чаще всего *станницей* называют стаю перелетных птиц. В этом значении оно вошло в литературный язык XVIII—XIX веков и встречается во многих произведениях, например у Лермонтова: “Станицы белых журавлей/ Летят на юг до лучших дней” или у Веневитинова: “И через степь, чрез бездны вод/ Станица журавлей на родину плывет”.

Разные значения слова *станница* — клирос, разряд певчих церковного хора; вооруженный отряд казаков; казачье посольство; группа удальцов, разбойников; стая птиц или стадо животных — объединяет то, что во всех случаях — это группа, сообщество людей или животных.

Ростов-на-Дону

## СТРАННЫЙ ЭРФИКС

Е. В. КОВАЛЕВА

Герой цикла очерков И.И. Панаева “Опыт о хлыщах” Астрабатов, пытаясь поставить на место рисующегося барона Щелканова, говорит: “Полно, душенька, эрфиксы-то выпускать, <...> со старыми-то приятелями эдак не встречаются. Вот лучше-ка по душе, запросто, без закорючек, обнимемся и поцелуемся” (Панаев И.И. Повести. Очерки. М., 1986).

Несколько позже Астрабатов, обращаясь к окружающим, произносит: “Я за деньгами не гонюсь, и эти пропадут, я знаю: пусть не отдает, да будь вежлив, нос-то не задирай<...> Ведь этими эрфиксами нынче никого не удивишь. Мы ничего не хуже тебя, брат, еще, пожалуй, почитаемся родословными-то” (там же).

В этом издании произведений И.И. Панаева имеются примечания, где приводятся толкования непонятных современному читателю слов, но о значении слова *эрфикс* комментаторы скромно умалчивают. А ведь его нет ни в одном нынешнем толковом словаре, и читателю, кроме как к примечаниям, обратиться некуда.

Не так давно появились первые современные издания ранее негласно запрещенного романа Н.С. Лескова “На ножах”, в котором есть следующая фраза в речи персонажа: “Вот приедем к жене, она задаст тебе такого эрфиксу, что ты высохнешь и зарок дашь с приезда по полям не разгуливать, прежде чем друзей навестишь”. Комментаторы поясняют ее следующим образом: “... задаст тебе такого эрфиксу... (от фр. *air* – воздух) – то есть задаст жару (духу)” (Лесков Н.С. На ножах. Собр. соч.: в 12 т. М., 1989. Т. 8).

Такое же примечание можно найти в отдельном издании романа “На ножах” (М., Русская книга, 1994). Но, кажется, объяснять значение данного выражения и не было необходимости: все ясно из контекста, да и глагольная форма *задаст* говорит четко и ясно не только за себя, но и за всю фразу в целом. А вот что такое *эрфикс*, так и осталось непонятым.

А ведь в XIX веке это слово было широко распространено, на что указывает возможность употребления его в переносных значениях в составе выражений: *задать эрфиксу* – задать взбучку, задать жару; *эрфиксы выпускать* – зазнаваться, важничать, пренебрежительно относиться к окружающим.

Однако единообразия в графическом оформлении слова *эрфикс* не было.

В “Ранних выводках” П.Д. Боборыкина встречается дефисное напи-

сание: “Я и в Москву успел скатать – там меня оценили! А ты и с медалью, да на какой ты шут годен... Зубристикой заниматься?! А лечь костями за братьев, должно быть не хватает эр-фиксу!” (Боборыкин П.Д. Собрание романов, повестей и рассказов: в 12 т. СПб., 1897. Т. 11).

М.Е. Салтыков-Щедрин пишет это слово латиницей *air fixe*, что указывает на французское происхождение слова из выражения: “В “хорошем” человеке прежнего времени был *air fixe* какой-то, какая-то непосредственность девственная, нечто вроде запаха дикой фиалки, смешанного с запахом вареной капусты. В нынешнем “хорошем” человеке... ба! да нет ли в нем этого *air fixe*? и не это ли драгоценное качество, цепко поднюханное тонким обонянием Матрены Ивановны, послужило основой ее благосклонности к новым людям?” (Салтыков-Щедрин М.Е. Наши глуповские дела. Собр. соч.: в 20 т. М., 1965. Т. 3).

В академическом издании повести Н.С. Лескова “Левша” вообще наблюдаются колебания в графическом оформлении слова: в пятнадцатой главе оно написано через *e*, а в восемнадцатой – через *э*: “Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу, и курьера, и так целые три дня обходились, а потом говорят: “Теперь довольно”. По симфону воды с ерфиксом приняли и, совсем освеживши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?”; “А аглицкий полшкипер в это самое время на другой день [в английском посольстве] встал, другую гуттаперчевую пилюлю в нутро проглотил, на легкий завтрак курицу с рысью съел, эрфиксом запил и говорит:

– Где мой русский камрад? Я его искать пойду” (Лесков Н.С. Избр. соч. М.–Л., 1937).

На первый взгляд кажется, что это просто опечатка в уважаемом издании – ведь в современных собраниях сочинений и избранных сборниках, где есть “Левша”, это слово постоянно пишется через *e* в обоих случаях. Чтобы найти истину, обратимся к изданиям “Левши” при жизни автора. Но и здесь наблюдается двоякое написание. Такое графическое оформление слова сохраняется в публикациях повести примерно до 40-х годов нашего века. Вывод следует один: не может быть и речи об опечатке и причины такого написания надо искать в самом тексте.

В процессе работы возникло следующее предположение. Начальное *э* характеризует слово как иноязычное, заимствованное. По мере вхождения в язык, особенно под влиянием разговорной речи, перед [э] появляется [й] (ведь [йэ] = *e*). И написание *e* вместо традиционного *э* – это один из признаков простонародной речи:

Запирайте этажи,  
Нынче будут грабежи!

Блок. Двенадцать.

Кстати, неоднозначность графики у разных писателей показывает процесс вхождения иноязычного выражения в русский язык и превра-

щения его в одно слово с постепенной русификацией: фр. *air fixe* → *эрфикс* → *эрфикс* → *ерфикс*. При этом последняя форма простонародная!

В пятнадцатой главе повести “Левша” встречается написание *ерфикс*, что вполне оправдано контекстом: в эпизоде действуют не только англичане, но и русские – курьер и левша, глазами которых воспринимается *симфон воды с ерфиксом*. В восемнадцатой главе речь идет уже только об аглицком полшкипере и действие происходит в английском посольстве, поэтому и появляется *эрфикс*, подчеркивающий иноязычность героя.

Подтверждение мысли, что Н.С. Лесков четко разграничивал написание этого слова, можно найти в переписке писателя.

6 декабря 1890 года Н.С. Лесков заметил Л.Н. Толстому о протоиерее Иоанне Кронштадтском: “У нас есть доктор (я живу в общине сестер милосердия гр. Орловой) – не совсем глупый, но он меня уверял, что “Иванов в больнице полезен, потому что он дает ерфикс больным”. Чудес иных он не делает, но “в этом смысле очень полезен” (Лесков Н.С. Собр. соч.: в 6 т. М., 1993. Т. 3).

Здесь Н.С. Лесков передает слова доктора, по-видимому, не очень умного, но близкого к народу. Поэтому и появляется простонародный вариант *ерфикс*.

В письме же А.Ф. Писемскому, датированном 17 августа 1872 года, встречаем традиционное книжное написание: “Пишите, ради бога, более и не хандрите, а приезжайте сюда к нам за “Эрфиксом”, которого доброжелательствовали Кашипиреву, его же память неведомо когда и праздновать” (Лесков Н.С. Собр. соч.: в 11 т. М., 1958. Т. 10).

Однако в нынешних изданиях повести “Левша” с сороковых годов нашего века закрепилось единое написание *ерфикс*, что можно объяснить невниманием к лесковскому слову, несмотря на то, что в изданиях XIX века слово *эрфикс* преимущественно писалось через э.

Нетрадиционное написание в данном случае несет дополнительную смысловую нагрузку в тексте. Но даже с точки зрения этики в будущих публикациях “Левши” необходимо восстановить авторское написание.

Исправлять и унифицировать написания *эрфикс* и *ерфикс* в “Левше” равносильно тому, чтобы сделать единой одежду левши, который из дому уходит в *кафтани* (гл. 9), но при пересаживании в коляску Платова оказывается в *казакине* (гл. 10), а далее (гл. 13) в *олямчике* стареньком, у которого “крюпочки не застегаются, порастеряны” при посадке в коляску Платова, но ведь отлетали они от *казакина*! Это все авторское, конечно же, сделано специально и никаким исправлениям не подлежит!

Но вернемся к значению слова *эрфикс* – *ерфикс*. *Эрфикс* не относится к числу стилизационных архаизмов, которые в избытке присутствуют в современных толковых словарях. В прошлом веке это слово было очень хорошо известно читателям, потому оно и не прояснялось,

а сейчас вышло из употребления и доставляет неудобства и читателям и, особенно, комментаторам: его не так легко понять.

Первым в современном литературоведении его попытался объяснить Б. Бухштаб в примечаниях к повести Н.С. Лескова “Левша”: “Эрфикс (фр. *air fixe* – твердый вид) – отрезвляющее средство, подбавляемое к воде” (Бухштаб Б.Я. Примечания // Лесков Н.С. Собр. соч.: в 11 т. М., 1958. Т. 7).

Отсюда подобное толкование пошло бродить почти по всем изданиям “Левши”. Однако сомнения возникают уже при виде буквального перевода фразы.

Во французском языке есть несколько омонимов *air* и один из них действительно имеет значение “вид” (правда, внешний). Но прилагательное *fixe*, несмотря на свою полисемичность, не имеет значения “твердый”.

Кроме того, в русском языке слова, заимствованные из французского и оканчивающиеся на *фикс*, обычно в своем лексическом значении имеют смысл “точный, определенный, постоянный”. Приведем несколько примеров: *журфикс* – *jour fixe* (букв. – определенный день) – вечер для приема гостей в установленный заранее день недели; *идефикс* – *idee fixe* (букв. укоренившаяся мысль) – излюбленная мысль, конек (первонач. мед. термин, означавший болезненно укрепившуюся в сознании, явно неправильную, болезненную мысль); *прификс* – *prix fixe* – вполне определенная цена, которую нельзя ни понизить, ни повысить; *фикс* – *fixe* – точно определенная сумма вознаграждения (по данным Толкового словаря русского языка под ред. Ушакова Д.Н. М., 1935–1940).

По-видимому, толкование “отрезвляющее средство” возникло на основе эпизода о трехдневном пьянстве в пятнадцатой главе повести.

Но когда читаем восемнадцатую главу, в душу закрадываются сомнения: запивать легкий завтрак, “курицу с рысью”, отрезвляющим средством более чем странно (к тому же, полшкипер, дабы протрезветь, дважды принимал загадочные “гуттаперчевые пилюли”).

А уж книга М.Я. Бессараб “Владимир Даль” (М. 1972) полностью сводит на нет подобное толкование слова *эрфикс*: “Как-то в жаркий день, вернувшись с Ваганьковского кладбища, дорога к которому шла через широкое поле, Даль велел подать квасу. Оба они – старик и мальчик – пили с удовольствием.

- Что, хорош квас?
- Хорош, Владимир Иванович.
- А чем хорош?
- Вкусный, холодный, с эрфиксом.

Владимир Иванович чуть не поперхнулся от удивления.

– С чем?

– С эрфиксом, – повторил гимназист уже менее уверенно, смущенный выражением лица Владимира Ивановича.

– Погоди, погоди, я что-то не возьму в толк. Ты что, иностранец какой, что ли?

– Нет.

– Как по-русски надо сказать?

– Не знаю.

– Ах ты, француз, француз! Ступай к отцу да спроси, как надо по-русски сказать, а потом приходи, как выучишься.

Когда запыхавшийся Андрей объяснил, в чем дело, Мельников-Печерский расхохотался: ему была известна ненависть Даля к употреблению без надобности иностранных слов. Он научил мальчика, что надо было сказать, и тот побежал к Владимиру Ивановичу.

– Ну что, научился по-русски говорить?

– Да. Игристый квас.

– Ан врешь! Квас ядреный. Отец твой его с шампанским спутал. Так ему и скажи!”

Но несмотря на такое “неточное” толкование, с 1958 года сведения о загадном отрезвляющем средстве под названием эрфикс кочуют по изданиям произведений Н.С. Лескова до сих пор, хотя фамилии комментаторов меняются.

Однако Б. Бухштаб точно указал происхождение слова, и, опираясь на его французское написание – *air fixe*, текстологи могли выяснить истинное значение загадочного *эрфикса*. Это и произошло, но ... в собрании сочинений М.Е. Салтыкова-Щедрина.

11 (23) июля 1881 года М.Е. Салтыков-Щедрин сообщал Н.А. Белоголовому из Висбадена: “Я сегодня хотел начал пить Вейльбах, и встал в 7 часов. Но шел проливной дождь (даже и теперь в 11 часов нет-нет да и пойдет), я и остался дома. Здесь эту воду (Швефельвейльбах) продают в бутылках (в два стакана) и говорят, надо пить прямо из бутылки, чтоб не исчез *air fixe*” (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: в 20 т. М., 1977. Т. 19, кн. II).

На тринадцатой странице этого же тома комментатор В.Э. Боград указывает, что *air fixe* – это “углекислый газ”.

Остается только посетовать на изолированность текстологов друг от друга.

Подробно французское выражение рассмотрено с многочисленными примерами из научной и художественной литературы в “Словаре иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода” А.М. Бабкина и В.В. Шендцова (первое издание было в 1966 г.): “франц. **Химич**. “Закрепленный воздух”. Углекислый газ, углекислота” (СПб., 1994. Т. 1).

К сожалению, “хрестоматийность” Н.С. Лескова и имя весьма известного комментатора сыграли злую шутку не только с текстологами, но и с читателями. А ведь стоило задуматься о несоответствии примечания контексту и обратиться к словарям, выпущенным до 1917 года, можно было найти ошибку. Так, слово *эрфикс* (в русской графике)

можно встретить в весьма популярном в начале XX века словаре М.И. Михельсона “Русская мысль и речь: Свое и чужое: Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний” (в 1994 году он был переиздан).

Профессионально занимающийся старыми словами языковед И.Г. Добродомов, опираясь и на словарь М.И. Михельсона, также объяснил значение этого основательно забытого слова в статье “Об историко-этимологических каламбурах” (См. сб.: Лексическая и словообразовательная семантика в русском языке. Ставрополь, 1986). К сожалению, комментаторы не учли и этого.

Однако надеемся, что в планируемом тридцатитомном издании произведений Н.С. Лескова все встанет на свои места: англичане, в том числе и полшкипер, будут пить обычную воду с углекислым газом (эрфиксом), или, как мы привыкли говорить, газировку, а не содрогающее душу “отрезвляющее средство”.

*Курган*



## Еще раз об Иресе

Н. С. АРАПОВА,

кандидат филологических наук

Ирису повезло: истории этого слова были посвящены насыщенные интересными сведениями статьи на страницах нашего журнала. Напомним читателям, что название цветка связывают с именем греческой богини Ириды (*Iris, Iridos*, Ирис – богиня радуги, посланница богов). Наименование растению “было дано Гиппократом, который занимался классификацией лекарственных растений. Видимо, оно так названо за свою яркую многокрасочную, *радужную* расцветку <...> В России они [ирисы] стали культивироваться с XVII века и первоначально нежно назывались в народе *касатиками*” (Русская речь. 1983. № 2).

Именно это название ириса и привлекло наше внимание. От слова *касатик* образовано русское название семейства касатиковых. В.В. Цоффка, автор статьи “Ирис в Словаре В.И. Даля”, так говорит о признаке, положенном в основу номинации: “Его часто именуют *ко(а)сатик*, *ко(а)сатник*, по-видимому, за форму листа в виде косы – сельскохозяйственного орудия” (Русская речь. 1984. № 3).

Статья сопровождается рисунком художника С. Гавриловой, очень удачно передающим этот красивый цветок с его причудливым венчиком. Но в изображении листьев этого растения допущена неточность. Ирис и похожий на него аир относятся к однодольным растениям, для которых характерны длинные узкие листья. Листорасположение у ириса иaira имеет характерную особенность: выходя из корневища, основания листьев обнаруживают поразительное сходство с заплетенной косой. Отсюда и название *косатик* (форма *касатик* – под влиянием аканья). Ср. у А.Т. Болотова в “Общих замечаниях о цветах” (XVIII в.): “Ирисы фиолетовые *Iris nostras*, инако касатиками называемые, ... цветы с травой, растущей кривыми косицами” (Болотов А.Т. Избранные сочинения. М., 1952).

Название растения *ко(а)сатик* отмечается в памятниках с начала XVII века. Составители Словаря XI–XVII веков считают, что это аир

(СлРяз. XI–XVII вв. М., 1980. Вып. 7). Ирис и аир – соседи по болоту, очень похожие друг на друга листьями, но резко различающиеся цветами: у ириса, даже дикого – крупный изящный ярко окрашенный венчик; цветы аира невзрачны и похожи на желто-зеленоватую шишку. Корни обоих растений употреблялись в народной медицине и косметике. Словарь XI–XVII веков выделяет словосочетание *касатик водный* “болотное растение с желтыми цветами”. Это, скорее всего, ирис ложноаировидный (*Iris pseudoacorus* L.) с крупными желтыми шестилепестковыми цветами, часто встречающийся по болотам и берегам озер средней и северной России.

Существительное *касатик* – суффиксальное производное от прилагательного *косатый*: скорее всего из словосочетания *косатая трава*.

В той же статье В.В. Цоффка пишет: “Этимологический словарь А. Преображенского фиксирует и усеченную форму от *аир* – *ир*”. Эту точку зрения разделяет и М. Фасмер (Этимологический словарь русского языка. Т. I). Однако, нам представляется, что форма *ир* может восходить не к *аир*, а к *ирис*.

Словарь XI–XVII веков отмечает существительное *ир* “аир” под 1674 годом. Существительное *ирис* отмечено тем же словарем как приписка на полях против слова *лилии* в Геннадиевской Библии 1499 года и в Травнике Николая Любчанина 1534 по списку XVII века. Однако слово *ирис* не было освоено в среднерусский период. Это произошло на рубеже XVIII и XIX веков. Мы находим его в “Экономическом магазине” А.Т. Болотова 1782 года, во “Всеобщем и полном домоводстве” 1795, а также в “Путешествии” П.С. Палласа 1786, где оно выступает как существительное женского рода: *соленолистная ирис*. Стремление сохранить женский род слова отражается и в попытках его переоформления: *ирисса* – “Новый русский садовник” 1799 года, *ириса* – Н. Осипов и С. Ушаков “Всеобщий садовник” 1812. В “Подробном словаре садоводства” 1792 года морфологическая адаптация носит более глубокий характер, т.к. апеллирует к основе косвенных падежей (что характерно для старых, традиционных заимствований из греческого и латинского языков): “... ирида, радужный цвет”.

Но чаще всего в конце XVIII века выступает форма *ирь*: “... двуцветная ирь (*Iris biflora*)” – “Академические известия” (1780); “...малорослая ирь (*Iris*)” – П.С. Паппас “Путешествие” (1786. Часть 2. Кн. 2); “*Flambe*. Ирь синяя, цветок, называемый также иридою” – И. Татищев “Полный французский и российский лексикон” (1798); “*Iris* ... касатник, ирь синяя” (там же).

Иногда – довольно редко – встречается форма *ира*: “...возьми ... флорентинской иры или касатику” – “Дамский туалет” (1791). Отмечается также форма *ир*: “... касатник, ир синяя” – И. Татищев “Полный француско-российский словарь” (1816). Определение *синяя* здесь прямо указывает на ирис, а не на аир.

Название *ир(ь) синяя* сделалось устойчивым словосочетанием и в

“Новом английско-русском словаре” Н. Грамматина и М. Паренаго 1811 года слилось в одно слово: “Iris (цветок) косатник, ирсиния”. Надо полагать, оно было на слух воспринято составителями словаря как типичное латинское название растения с окончанием *-ия* (как у слов *акация, гледичия, далия, камелия* и т.п.).

*Ирь, ира, ир* – попытки морфологически переформировать греческое слово по законам русского языка путем отсечения окончания именительного падежа единственного числа. Аналогичную картину можно наблюдать при заимствовании в XVIII веке (и ранее) греческих и латинских названий растений. В ботанической литературе конца XVIII – начала XIX веков можно встретить *амариллы, гладиолы, какты*, позже вытесненные *амариллисами, гладиолусами и кактусами*. Сохранение или несохранение латинских окончаний *-s, -us* в заимствованном ботаническом термине – один из признаков, позволяющих определить время вхождения слова в русский язык.

## Самопровозглашенная республика: что бы это значило?

Эр. ХАН-ПИРА,

кандидат филологических наук

С недавних пор газеты, радио, телевидение все чаще употребляют как термин словосочетание *самопровозглашенная республика*. Вот, например, корреспондент "Известий" в репортаже об Абхазии (1995. 19 авг.) дважды пишет *самопровозглашенное государство* и трижды *самопровозглашенная республика*. Так же именуют печать, радио, телевидение Сербскую Краину, Сербскую республику, Приднестровскую республику, Нагорно-Карабахскую республику. И ни разу не встретилось определение этого термина.

Однако, во-первых, Абхазия и до 1992 года была республикой. И в том ее отличие от других, обозначенных упомянутым термином. Во-вторых, и это самое главное, при отсутствии определения (дефиниции) данного термина его внутренняя форма (т.е. смысл, вытекающий из смысла составляющих термин знаков, или, как говорят терминоведы, терминологических элементов: *самопровозглашенная* и *республика*) делает нынешнее применение термина сомнительным.

В самом деле. Давайте полистаем страницы истории. В 1776 году, в разгар войны за независимость в Северной Америке (1775–1783) провозглашено независимое государство – США. Вопреки воле и вооруженному сопротивлению метрополии. Стало быть, самопровозглашенное государство.

1830 год. В результате революции Бельгия становится государством. Государством, отделившимся от Нидерландов. Его независимость провозгласили не Нидерланды. Значит, самопровозглашенное государство.

17 августа 1945 года Сукарно провозгласил независимую республику в Индонезии и поднял ее государственный флаг. Вопреки воле нидерландского правительства. Выходит, тоже самопровозглашенная республика.

А кто провозгласил республики в Армении, Грузии, Азербайджане еще до прихода в Закавказье Красной Армии? А кто посторонний провозгласил возникновение Российской Советской Республики в 1917 году?

Внутренняя форма терминов *самопровозглашенное государство*, *самопровозглашенная республика* предполагает, что есть и другие государства, республики, существование и независимость которых провозгласил кто-то со стороны: например, бывшая метрополия, как, ска-

жем, в случае с Индией, получившей независимость государственным актом Великобритании. Иначе говоря, этот термин (точнее, его внутренняя форма) предполагает, подразумевает и другой термин, противоположный ему, термин-антоним, термин-антипод: *несампровозглашенное государство (несампровозглашенная республика)*. Оба этих термина-антонима делили бы государства на те, что образованы, созданы руками живущих в них народов и на те, народы которых получили свое государство из чужих рук.

Таким образом, применяя термины *сампровозглашенное государство, сампровозглашенная республика* для указания, напоминания, что данное государство (республика) не может считаться государством с точки зрения международного права, допускают неточность, ибо сама по себе сампровозглашенность еще не признак нарушения международного права.

Если же интересующим нас терминам приписывают понятие "государство (республика), не признанное ни одним из существующих государств", то тогда они попадают в разряд, как говорят терминоведы, ложно ориентирующих терминов, т.е. терминов, внутренняя форма которых не согласуется с заключенным в них понятием, не наводит на это понятие, а уводит от него.

От таких терминов надо вовремя избавляться.

## АЛЕКСАНДР КРУГЛОВ. “Формулы”, “Словарь”

Философия представляется нам в виде собрания фолиантов с творениями великих умов древности и современности и бесчисленными учеными трактатами, комментирующими и анализирующими их. А современный философ — это прежде всего ученый, вобравший всю предыдущую мудрость и уточняющий ее в отдельных деталях.

В принципе, мы готовы допустить, что где-то ходит по земле новый философ, чьи мысли станут важными для человечества и чьи книги будут читать и обсуждать наши потомки. Но трудно представить себе, чтобы он жил среди нас, в нашей взбудораженной стране, в наше сумбурное время. Нам бы выжить, нам бы оправиться от потрясений, от материальной и моральной разрухи, нам бы встать на ноги...

Но вот погружаешься в неторопливый, раздумчивый, совершенно не публицистический, на первый взгляд, “Словарь” (Москва. Гнозис, 1994) — и постепенно все отчетливее понимаешь, что, может быть, и нельзя по-настоящему встать на ноги без этой спокойной вдумчивой работы, без стремления въестись в глубинную суть явлений, без желания понять, что действительно стоит за каждым словом, которым мы пользуемся. Может быть, философия — самая важная сейчас для нас публицистика.

Открываю наугад: “Государство — территория власти...” Уже это изречение, острое, простое и точное, по-своему разворачивает перед нами привычное слово — и дальше многое можно продолжить самому. Из этого определения, как из высокого окна, открывается и прошлое и настоящее.

Автор подталкивает нас к размышлениям — и сам присоединяется к ним:

«“Государство и право”. Говорили бы лучше — “государство и закон”, ведь власть и право — скорее, антагонисты, — “Насилие и право”. Право выговаривает себе в системе государственного насилия место, чем-то поступаясь, зато и приобретая себе защиту от всякого насилия несистематического. Право сталкивается с государством о законе».

Кстати, стоит обратить внимание на интонацию, на оживление абстрактных категорий, на довольно неожиданные глаголы: “выговаривает”, “столковывается”...

И снова отточный афоризм: «“Правовое государство”: право, обуздавшее государство»

Внимание к слову, к понятию насыщает особой энергией уже первую книгу Круглова: “Формулы”, вышедшую в 1990 году в издательстве “Прометей”. Но “Формулы” представляют собой как бы одно большое философское эссе, переливающееся оттенками мысли и переходящее от темы к теме почти незаметно. Некоторая произвольность, несистемность размышлений облегчают восприятие их читателем.

“Словарь” — книга более кристаллизованная. Внешне бесстрастный алфавитный порядок вызывает ассоциацию с энциклопедической традицией, пробуждает желание пересмотреть привычные для общества истины. Почти каждая из статей “Словаря” словно разрывает рассматриваемое понятие на множество смыслов. Но внимание к каждому из них снова соединяет эти разные смыслы и возможные их толкования в единую, по-новому целостную картину.

Круглов не поучает. Он сам учится, вслушиваясь в традицию словоупотребления, в мудрость значений и осмыслений. И вслушивание это — заразительно. Оно побуждает к самостоятельному мышлению, к выработке собственной мировоззренческой позиции, подчас за счет спора с автором. Да автор и сам с собой то и дело спорит, сомневается, уточняет, не боится вопросительных знаков. Здесь нет решений. Здесь всё — раздумья.

Из статьи “Интимное”: “...Но почему же все-таки личное имеет это святое право — сущностную потребность — на потаенность? — Без потаенности не состоится в душе чего-то самого главного, не состоится — она сама. Живое — непрерывно возникающее из тайны”.

Закончилось время обязательных идеологических клише. Закончилось вместе с ним и время диссидентской контркультуры, когда достаточно было подумать не так, как положено, чтобы окружающие уважали тебя за внутреннюю смелость. Пришло время ориентироваться свободно не только в рыночных, но и в мировоззренческих вопросах. Ориентироваться самостоятельно, чтобы быть личностью, а не частицей толпы. И нам необходимо замечать книги, подобные этим, — книги философов, живущих среди нас, испытывающих то же, что и мы, но обладающих особым даром говорить обо всем на языке главных ценностей человеческой жизни.

Приведу еще один небольшой фрагмент из “Словаря”, из статьи “Имущество”. Фактически это законченное эссе, безукоризненное в литературном отношении, а в плане философском особенно интересное сочетанием мировоззренческого и житейского начал:

“Почему испытываешь такое тягостное чувство, когда без толку уничтожаются годные еще вещи? — Потому, что власть над вещами, как и над людьми, не может переходить каких-то, ощущаемых совестью, границ. Отдал бы художник картину за самую высокую цену, если бы знал, что ее покупают ради удовольствия ее сжечь? Нет, конечно, точно так же, как и портной свой костюм. Кроме цены, всякая вещь

имеет ценность, или, что то же, свое бесценное. Потребление не должно переходить в истребление, — так что вовсе не жалеть вещей самих по себе, пусть своих собственных вещей — еще отнюдь не значит быть бескорыстным, напротив, значит быть потребителем, а лучше бы выразиться — истребителем. Бесценное вещей — их, подаренная им человеком, жизнь. Когда вы видите, как некто на сцене лупит рояль, или мальчишка расправляется с какой-нибудь угодившей на свалку дедовской тумбой — вы чувствуете, и чувствуете правильно, что на самом деле им хочется — убивать...”

Мы давно знаем о психологических аспектах этого явления от ученых и психоаналитиков, но здесь мы слышим именно философа — человека, помогающего нам ориентироваться прежде всего в нашем собственном внутреннем мире. И когда мы встретим истребителя в своей душе, мы постараемся не дать ему разгуляться.

На книги Круглова я вышел, собирая афоризмы для “Словаря парадоксальных определений”. К тому времени в моем словаре скопились уже определения-афоризмы свыше тысячи авторов всех времен и народов. Но тут, перелистывая страницы “Формул” и “Словаря”, я почувствовал себя как грибник в заповедном лесу, и “корзина” моя наполнялась с невиданной скоростью. Удивительным было и качество моего “урожая”: афоризмы Круглова нисколько не померкли, оказавшись рядом с изречениями великих умов античности, французских остроумцев и восточных мудрецов.

В заключение приведу некоторые из кругловских афоризмов-определений. Пусть будет если не словарь, то хотя бы маленький словарик:

*Агрессивность* — бескорыстная злоба.

*Бездарность* — неспособность доходить в деле, в котором пытаешься проявиться, до его сути.

*Война* — человеческое жертвоприношение идолу власти.

*Гипноз* — вытеснение личности из личности.

*Добро* — это цель целей, ценность ценного.

*Ересь* — покушение на установившуюся монополию на истину — проект другой монополии.

*Жалость* — неэгоистическая половина любви.

*Идея* — сокровенная реальность реального.

*Култ* — благоговение перед данностью.

*Личность* — мост к духу.

*Мудрость* — способность за знаками ощущать собственное бытие обозначаемого.

*Неразличимость* — талант карьериста.

*Очевидность* — высший пункт доказательства.

*Причина* — объясняющее, но не объяснимое.

*Разум* — способность видеть естество вещей.

*Свобода* — воля, которой дали волю.

*Толпа* — группа, в которой на всех одна роль.

*Тщеславие* — страсть к публичности как способ удостоверяться в собственном бытии.

*Утешения* — поплавки, на поверхности той пучины, которую раз-верзает под горюющим его горе.

*Факт* — это то, что не допускает с собой произвольного обращения.

*Ценность* — то, чему нет цены.

*Честность* — самая дальновидная дальновидность.

*Этимология* — великий разоблачитель.

*Юность* — жизнь плюс жизнь впереди.

*Я* — суть, видимая лишь в формах, каждая из которых не его суть.

В.Г. Кротов

---

Уважаемые читатели!

Подписка на журнал «Русская речь» принимается во всех отделениях связи. Ищите индекс журнала (70788) в Каталоге Федерального Управления почтовой связи (ФУПС)

---

## ЖИВАЯ РЕЧЬ УРАЛЬСКОГО ГОРОДА

Язык — это разнородное, многоцветное явление. Его можно сравнить с мозаичным панно: целое складывается из мельчайших фрагментов, тесно связанных друг с другом и несущих определенную информацию обо всем изображении. Отдельные “кусочки” в этой мозаике — языковые облики городов. Сама же городская разговорная речь далеко не однотипна, она отражает местные языковые особенности, становится своеобразной “визитной карточкой” территории. И поскольку городов у нас много, то и вариантов городской разговорной речи — огромное количество. Но повышение образовательного уровня, усиление роли средств массовой информации в жизни горожан способствует усвоению “готового”, нормированного языка, следовательно, вроде бы, не может идти речь о территориальной членности. Все проявления самобытности языкового облика должны восприниматься как нарушение нормы. Но в быту мы используем “свой” язык, в смысле территориальной и социальной принадлежности. И с этой точки зрения изучение речевого облика города важно и необходимо для понимания закономерностей существования литературного языка.

Предлагаемое издание “Живая речь уральского города” (Екатеринбург. Изд-во Урал. ун-та, 1995) позволяет узнать, изучить и оценить один из элементов грандиозной языковой мозаики — речевой “портрет” Урала.

Эта книга — хрестоматия, сборник текстов, каждый из которых — расшифрованная аудиозапись настоящей живой разговорной речи горожан.

Живая речь изменчива и неуловима, она носит мгновенный, переходящий характер, и поэтому “Живая речь уральского города” — это “остановившееся мгновение” обыденной разговорной речи, вспышка, осветившая состояние языка в какой-то момент, запечатлевшая особенность городского языкового облика.

Записи сделаны в неофициальной обстановке, без каких-либо ограничений. Все тексты представляют собой, если можно так выразиться, “кухонные” разговоры. Кухня — одно из главных мест общения в доме, где собираются все члены семьи, ведутся беседы о самом наболевшем, самом сокровенном. И поэтому с содержательной стороны предлагаемые тексты разнородны, как и наши каждодневные разговоры.

В таком непосредственном, нерегламентированном общении горо-

жан возможны вкрапления просторечия, жаргонов, диалектов. Фонетические особенности речи горожан-уральцев представлены очень незначительно. Отступления от литературного языка в этих текстах — скорее речевые варианты, свойственные городской разговорной речи вообще: *grim* — говорит, или просторечный тип произношения *чо* — что, *вобще* — вообще, *щас* — сейчас. Произношение подобных слов составители дают в фонетической записи.

Но большего внимания достойны, все же, лексические нелитературные вкрапления — жаргон, слова, неизвестные литературному языку. Их в текстах достаточно много. Скорее всего, по ним и можно судить о том, членился ли городская разговорная речь территориально или нет. Авторы считают, что изучение подобных явлений может дать неплохие результаты для понимания специфики городской речи именно в данном регионе.

Каждый текст имеет свой паспорт, где указаны основные данные говорящих (особое внимание уделено тому, сколько лет прожил человек на Урале, коренной уралец или приезжий), учтены социальные характеристики: пол, возраст, общественное положение. Ведь все говорят по-разному. И поскольку люди объединяются в социальные группы, то и их речевые портреты образуют галерею, представляющие определенные социальные признаки в языковой сфере. У каждой — свой язык, поэтому данную книгу можно рассматривать как хрестоматию речевых особенностей различных социальных групп. А все речевые облики объединяются в портрет города. Множество цветов, тонов и полутонов — именно такой материал является отражением реальной жизни, где социальные оттенки переплетаются с территориальными, а общественно-политические штрихи накладываются на историко-культурные.

Большинство представленных текстов имеют не только лингвистическую, но и культурологическую ценность. Из разговоров коренных уральцев мы можем узнать об истории географических мест, названий, затерявшихся в научной литературе и передающихся из уст в уста. Об общественной жизни периферийного города, о людях, которые живут на Урале, — все узнается из текстов. Нам дана прекрасная возможность посмотреть на город “изнутри”, глазами не стороннего наблюдателя, а “соучастника” всего происходящего.

Все тексты — это своеобразная хроника времени. Записи производились в 80-е — 90-е годы. Коренные изменения нашей жизни идут настолько быстрыми темпами, что все, что было даже год назад, воспринимается как факт исторический. А благодаря представленным в книге записям мы, словно перелистывая семейный альбом, возвращаемся в недавние годы, вспоминаем события, себя в них. С этой стороны книга может заинтересовать журналистов, историков, социологов, а не только лингвистов.

Круг проблем, к решению которых позволяет приблизиться предлагаемое издание, чрезвычайно многообразен. В широком плане работа дает плодотворную почву для социологических исследований, т.к. социальный фактор в этой книге стоит на первом месте.

Если смотреть уже, с точки зрения лингвистики, сборник позволяет приблизиться к реальному языковому источнику — речевому облику города, что немаловажно для исследований в этой области.

О.М. Подольская

## *В Российском гуманитарном научном фонде*

22 сентября 1995 года в Российском гуманитарном научном фонде состоялось совещание главных редакторов гуманитарных научных журналов. Совещание констатировало, что научные журналы сегодня приняли на себя значительную долю труда по сохранению российской гуманитарной науки. Сегодня они — источник информации, знания и культуры, средство общения профессионалов между собой и с обществом в целом. Однако научные журналы переживают глубокий кризис, связанный как с общим положением дел в российском обществе, так и с неконтролируемым ростом цен на полиграфические материалы и услуги по распространению и доставке журналов подписчикам.

При этом отмечалось, что Правительство России, многие политические и общественные деятели постепенно осознают пагубность пренебрежения просвещением, наукой и культурой. До некоторой степени увеличены бюджетные ассигнования на науку, поощряются новые для России государственные формы поддержки научных исследований в виде недавно созданных, но хорошо зарекомендовавших себя научных фондов.

Однако, поскольку ситуация, связанная с изданием научной периодики, остается трудной, Совещание главных редакторов гуманитарных научных журналов постановило: конституировать Совещание главных редакторов гуманитарных научных журналов как постоянно действующий консультативный орган — Совет главных редакторов гуманитарных научных журналов при Российском гуманитарном научном фонде: считать необходимым и целесообразным постоянные консультации, а в случае необходимости, и совместные действия научных журналов по выработке общих позиций, влиянию на власть, отстаиванию интересов гуманитарной науки; содействовать развитию научных коммуникаций с целью широкого распространения научного знания, разработать меры по обеспечению большей доступности материалов, публикуемых в журналах, для научной общественности; считать одной из приоритетных задач информирование научной общественности о состоянии дел в гуманитарных науках, о деятельности Российского гуманитарного научного фонда, ознакомление с исследованиями в соответствующей отрасли знания.

Председателем Совета главных редакторов гуманитарных научных журналов избран академик Г.М. Бонгард-Левин.